

ЭМИЛЬ АЖАР
РОМЕН ГАРИ

Псевдо

EMILE AJAR
ROMAIN GARY

Pseudo

Эмиль Ажар
Псевдо

Emile Ajar
Pseudo

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Mercure de France, 1976
©Издательство Симпозиум, 2000
©А. Беляк, перевод с французского, 2000
©«Im Werden Verlag», 2003
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon books@tumana.net
Generated by L^AT_EX 2_ε

Ожоги, укусы, рваные раны. Собаки кусают. Сво-
ры собак. Непрекращающиеся волны собак. Атаки
яростных, нетерпеливых псов, о которых не мо-
гу сказать никому, о которых в такой момент мне
нельзя говорить, как будто их нет, как будто вокруг
меня все спокойно. . . Тихо, безопасно.

Анри Мишо

«Лицом к ускользающей реальности»

Начала нет. Я был зачат, каждому свой черед, и с тех пор у меня общая участь.

Как я ни старался уклониться, ничего, как и у всех, не вышло, и меня приплюсовали к общей массе.

А ведь я разработал сложнейшую систему защиты, известную в шахматах под моей фамилией, – защиту Ажара. Сначала больница в Кагоре, потом несколько сроков в психиатрической лечебнице доктора Христиансена, в Копенгагене.

Меня экспертизировали, анализировали, тестировали, вывели на чистую воду – и система защиты рухнула. Я был «излечен» и выпущен в свободное плавание.

Мне удалось украсть несколько страниц из своей медкарты. Хотелось посмотреть, нельзя ли из этого что-нибудь извлечь с литературной точки зрения, нельзя мне как-нибудь прибрать себя к рукам.

«Подобная симуляция, к тому же практикуемая годами с высокой степенью логики и постоянства, своим навязчивым характером свидетельствует о подлинных нарушениях личности».

Ладно, согласен, так ведь все вокруг симулируют напропалую: один мой знакомый алжирец сорок лет подряд изображает дворника, а контролер, который компостирует по триста билетов в день? Если не притворяться, вас объявят человеком антиобщественным, не приспособленным к жизни или больным. Могу сказать вам больше: вокруг симуляция жизни в абсолютном псевдомире, только вы решите, что у меня недостаточно зрелый ум.

«Сирота, с детства испытывает ненависть к одному дальнему родственнику: ярко выраженный поиск Отца».

Тонтон-Макут сволочь, но не обязательно мой отец. Я от него этого и не требовал, я только надеялся, изредка, от отчаяния. Не я, а мои исследователи стали намекать после выхода в свет моей книги «Вся жизнь впереди», что мой настоящий автор – он.

«Расшнуровывая ботинки, делает мертвые узлы, затем рвет их или режет в попытке освободиться. Перенос на шнурки психологических узлов, которые он пытается развязать и только приумножает».

Насчет шнурков правда, а все остальное – фигня.

Верно также и то, что у меня проблемы с кожей, она не моя: я получил ее в наследство. Я был в нее завернут генетическим путем, аккуратно, предумышленно – и: подсудимый, встаньте, особенно ночью, когда уровень сахара у меня в крови вроде бы достигает нижней отметки и внутри все воеет от ужаса.

Понятия не имею, когда впервые появились «клинические признаки» принадлежности, или, как они говорят, «симптомы». Не помню уже, о какой точно бойне тогда шла речь, но вдруг я почувствовал, что на меня со всех сторон показывают пальцем, что я в жутком поле зрения. Вот он, хватайте. Я вдруг глобализовался, и ответственность моя вышла из границ. Потому-то психиатры и решили, что я за свои действия не отвечаю. Едва вы начинаете ощущать себя преследователем всех и каждого, как вам тут же ставят диагноз «мания преследования».

Я все перепробовал, чтобы сбежать от себя. Я даже стал учить суахили, потому что это все-таки не должно было быть мне близко, а даже очень неблизко, Я учился, мучился, а в итоге – ничего, потому что даже на суахили я понимал себя и чувствовал принадлежность.

Тогда я попробовал угро-финскую группу. Я был уверен, что в департаменте Кагор уж точно не наткнушь на угро-финна и не окажусь опять лицом к лицу с собой. Но в безопасности я себя не чувствовал. Я опасался, что двуногие, владеющие угро-финским, могут случиться и в департаменте Лот. А раз уж, кроме нас, никто этот язык понимать не будет, то мы рискуем расчувствоваться, раскрыть друг другу объятья и заговорить откровенно. Наговорим друг Другу с три короба с поличными, придется грабить почтовый дилижанс, потому что он тут

совсем ни при чем и такой шанс упускать нельзя. Не желаю никаких связей с контекстом.

И все равно я ищу человека, который меня не поймет, и я его не пойму, потому что мне до жути необходимо братство.

Впервые у меня были галлюцинации в возрасте шестнадцати лет. Я вдруг увидел себя среди ревущих волн реальности, и реальность наступала на меня со всех сторон. Я был очень молод, ничего не знал о психиатрии, и когда видел на экране телевизора Вьетнам, подыхающих с голоду африканских детей с надутыми смертностью животами, трупы солдат, которые выпрыгивали прямо на меня, – то искренне думал, что спятил и что это галлюцинации. Вот я и стал потихоньку и почти бессознательно разрабатывать свою систему защиты, позволяющую мне время от времени скрываться в разных гостеприимных учреждениях.

Но все это случилось не вдруг, а было результатом долгой работы.

Я не сам себя сделал. Есть и наследственность от папы-мамы, алкоголизм, склероз сосудов мозга, на ступеньку выше – туберкулез и диабет. Но надо начинать совсем издалека, потому что только в начале всех начал можно найти по-настоящему неназываемые вещи.

С появления моего первого бредового произведения люди стали замечать, что я на самом деле не существую по-настоящему и что я, видимо, фикция. Кто-то даже предположил, что я плод коллективного творчества.

Это точно. Я плод коллективного творчества, с умыслом или без такового, пока сказать вам не могу. На первый взгляд, я не нахожу в себе достаточно таланта, чтобы вообразить, что мог быть сифилитический или какой-либо подобный умысел, с единственной целью выдавить из меня хоть какое-никакое литературное произведение.

Возможно, потому, что и маленькая выгода – тоже польза, но с уверенностью не скажу.

«Пишет под псевдонимом Ажар, Ажар по-английски означает “незакрытый”, – доказательство мазохистической уязвимости, явно культивируемой как богатый источник литературного вдохновения».

Вранье. Сволочи. Я пишу свои книги от одной больницы до другой, по советам самих врачей. Это такая терапия, говорят они. Сначала мне рекомендовали живопись, но пользы было мало.

«Мечтает о неуязвимости, иногда доходя до принятия формы различных предметов: перочинного ножа, пресс-папье, цепочки, брелока, пытаюсь тем самым добиться потери чувствительности, а также симулировать, в качестве неодушевленного предмета, правильное и конструктивное отношение к обществу, со стороны которого он постоянно ощущает угрозу. Отказался от Гонкуровской премии, чтобы избежать преследований».

Я отказался от Гонкуровской премии в 1975 году, потому что запаниковал. Мою систему защиты раскрыли, взломали, я был в ужасе от внезапной славы, которая вытаскивала меня из всех убежищ, а «исследователи» уже наводили справки в кагорской псих-больнице. Я боялся за мать, умершую от склероза и использованную в книге для создания персонажа мадам Розы. Я боялся за ребенка, которого прятал, – тогда ему было лет двенадцать – тридцать пять, как мне, или лет сорок, или сто или двести тысяч, а может быть, и больше, потому что надо дойти до самого корня зла, чтобы иметь право доказывать свою невиновность. И я отказался от премии, но видимость моя от этого стала только еще хуже. Они решили, что я достоин славы.

Потом меня лечили – спасибо, теперь мне лучше. Во время моего последнего пребывания в больнице я даже написал третью книгу.

«Часто воображает себя удавом с целью избежать человеческого вида и уклониться от связанных с ним ответственности, обязанностей, чувства вины. Использовал удавообразное состояние для сочинения романа “Голубчик”. Налицо попытка взять себя в руки, что свидетельствует о длительной привычке к мастурбации».

Все точно. За это меня даже 29 ноября 1975 года приглашали на Всефранцузский конгресс

Движения борьбы с расизмом и антисемитизмом, потому что пресмыкающиеся всегда получают первыми, за внешний вид. Я не смог поехать, потому что тогда же в Копенгагене меня посадили в кутузку. Выражаю благодарность организаторам.

Оболью презрением и не буду цитировать тот откровенно антисемитский раздел моего досье, в котором говорится, что я еврей. И все же хотелось бы понять, связано ли чувство собственного недостойнства и вины с тем фактом, что я еврей, а значит, не распинал Христа, в чем меня неоднократно упрекали антисемиты. Может, я стал удавом в попытке уклониться от своего еврейства?

Доктор Христиансен говорит, что лучше этого всего не касаться.

Он не против мастурбации. Диалектика, умственная активность и интеллектуальное удовлетворение в небольших дозах вреда не принесут и даже полезны, но две тысячи лет рукосуиства – это слишком. Он напомнил, что теперь есть негры, арабы, китайцы, коммунисты, так что евреи не являются исключительным поводом дергать себя за разные места.

Тогда я спросил у милейшего доктора, не потому ли мне пришлось стать удавом, что евреев уже две тысячи лет разводят в качестве мытарей и кровопийц, и он ответил, что это вполне возможно, что ради литературы я способен на все, и в том числе на самого себя.

Я вспомнил о Тонтон-Макуте. Он известный писатель и всегда умел сделать на ужасе и страданиях хорошенький литературный капитал.

Я снова стал писать книги.

Как видите, положение безвыходное. Я окружен со всех сторон и ощущаю принадлежность.

Есть у меня в больнице один коллега, который расшифровал иероглифы одного египетского диалекта доколумбового периода, и когда он стал думать и говорить на этом совершенно несурзном, неведомом и бесхозном языке, то оставил некоторые иероглифы нерасшифрованными, чтоб оставалась надежда. Их смысл неясен, и, значит, они могут скрывать в себе что-то подлинное, отгадку и ответ. Вот счастливый человек. Он думает, что нашел совершенно нетронутую вещь.

В этом документе я не соблюдаю хронологию, порядок и правила: достаточно я прочел детективов, чтобы знать, что порядок ведет за собой полицию, и не для того я прячусь тут, в копенгагенской клинике доктора Христиансена, сами понимаете.

Я недостаточно плохо знаю датский язык. Когда начальство выпускает меня погулять, датчане говорят мне об Аргентине, Чили и Северной Ирландии, и вид у них осуждающий. Прохожие бормочут мне по-датски жуткие вещи, которые они обо мне узнали.

Вы спросите, как я понимаю, что говорят на совершенно неизвестном мне языке.

Не смешите меня.

Я прирожденный лингвист. Даже молчание я слышу и понимаю. Это особенно страшный язык, и понять его легче всего. Забытые и брошенные живые языки, на которых никто не говорит, – эти просто вопиют, чтобы их поняли.

Существует еще огромная проблема дыхания.

В первый раз меня изолировали, когда окружающие заметили, что я тысячи раз, с утра до вечера, задерживаю дыхание. Сначала мне надавали по морде, потому что это было обидно, и негуманно, и оскорбительно для Паскаля, Иисуса и Солженицына. Или по росту: Солженицына, Иисуса и Паскаля. Плевков в лицо человечеству, то есть величайшее оскорбление, какое можно нанести литературе. Я тогда был коммунистом, но уже давно сдал билет, чтобы не бросать тень на партию, потому что я подрывной элемент. Я стоял на тротуаре, вокруг было полно людей, они видели, что я пытаюсь не дышать с ними одним воздухом. Люди вызвали полицию на случай нарушения в общественном месте. В фургоне, видя, что я по-прежнему не дышу и даже затыкаю нос, эти суки набили мне морду за оскорбление органов дыхания при исполнении.

Когда комиссар полиции увидел, что я стою перед ним, не дышу, затыкаю нос и делаю утреннюю гимнастику, он жутко разозлился и сказал, что тут у них не Аргентина и не Ливан, а наоборот, Кагор, что тут не пахнет дерьмом, кровью, гнильем и трупами. И что я могу дышать, как того требует все человечество.

– Нечего тут мне вкручивать.

Но мы были не только в Кагоре. Мы были везде. Этот мудака будто не подозревал, что Пиночет и Амин Дада – это мы с вами.

Нечего тут мне вкручивать. Кажется, именно так сказала первая яйцеклетка первому встречному сперматозоиду, но яйцеклетка была беззащитна, и последнее слово осталось за гадом.

А потом у меня в Кагоре завелись новые враги. Я хотел быть как сказители-арабы, я вставал в рыночный день среди улицы Клемансо и рассказывал свою жизнь. Мне опять набили морду. В участке комиссар Отченаш серьезно поставил мне на вид.

– Да что я такого сделал, господин комиссар? Я просто рассказывал свою жизнь.

– Ваша жизнь, Павлович, сплошная мерзость. Люди возмущаются, когда вы при них говорите такие гадости.

– Да обычная жизнь, как у всех, господин комиссар.

Комиссар Отченаш густо покраснел.

– Вот как дам сейчас в морду!

– Я же говорил, все как у всех.

– И хватит заниматься порнографией. Смотрите у меня. Вы псих, вот и ведите себя как псих, и никто вам слова не скажет.

Я стал как бы вроде что-то изображать, и меня тут же оставили в покое.

Иногда я встречался с друзьями в вокзальном буфете. Один был водопроводчик, другой

бухгалтер, третий где-то служил. Конечно, на самом деле они не были ни водопроводчиком, ни бухгалтером, ни служащим. Они совершенно другие люди, но никто об этом не подозревает, и они как бы вроде что-то изображают по восемь часов в день – и никто их не трогает. Они живут, скрываясь внутри себя, и выходят наружу только по ночам, в грезах или кошмарах.

И тогда пришло поразительное известие: американские ученые сумели получить искусственный ген, базовую единицу наследственности. Искусственный. Я так воодушевился, что вылетел голый на улицу с криками: «Алилуйя!» Меня тут же отвели в участок, и когда я объяснил комиссару Отченашу, что у нас будут корни, что мы наконец-то будем друг друга рожать и каждый станет плодом собственных усилий, а не просто каким-то сукиным сыном, что наконец-то появится человеческий род без первородного греха, полиции и ядерной стратегии, – все в едином порыве набили мне морду. Но я все равно верил и бегал по улицам, раздавал листовки и вопил, что на папиных генах можно поставить крест. Меня изолировали.

Можете сами проверить. Все описано в «Журналь дю Кагор» за 25 мая 1972 г.

Важно уяснить себе, что я человек – безответственный.

Мальчишкой я стеснялся старшего брата. Он остановился в развитии и вынужден был всегда оставаться молодым. Я не хотел его видеть. У него был такой недоумевающий взгляд, как будто он спрашивал, кто ему это сделал и за что. Тогда я еще не знал, что непонимание превосходит и знания, и талант и что последнее слово всегда остается за ним. Взгляд моего брата ближе к истине, чем Эйнштейн.

Я объявляю во всеуслышание: я против ДНК, я против фактора наследственности. Это не фактор, а уголовник какой-то.

А потом начались ночные звонки. В первую ночь мне позвонил Плющ. Тогда Плющ был таким математиком, гением человечества, и другие гении человечества из Советского Союза поместили его в психиатрическую лечебницу, с тем чтобы соответствующими химическими средствами довести до безумия. Сегодня, когда эта книга вышла в печать, Плюща зовут Буковский, но это он просто сменил фамилию.

Советские психиатры – самые ярые враги СССР, они дискредитируют его перед всем миром. Как-нибудь их отдадут под суд, потому что они работают на ЦРУ.

– Ну что, Женя?

Иногда я от скуки зову себя Женя.

– Да ничего, А кто говорит?

– Плющ.

«Не может быть, – подумал я. – Это опять мои человеческие свойства чего-то там навалили».

– Не знаю никакого Плюща.

Тогда он просто сказал мне так, что я никогда не забуду:

– Конечно, вы меня не знаете, Женя. *Вы же нормальный человек.* Сотни миллионов человек не знают меня и совершенно по этому поводу не волнуются. Спите спокойно.

И повесил трубку.

Вы не поверите, если я вам скажу, что через десять минут позвонил Пиночет. Тогда много говорили о Пиночете, потому что еще к нему не привыкли.

– Все в порядке, старина? Лицо, глаза, зубы, руки целы?

– Отвалите. У меня с вами нет ничего общего.

И так всю ночь. Я просидел у телефона до рассвета. Звонили из Индии, из Бангладеш, из Камбоджи, из Африки. Особенно много звонило покойников. Когда начинаешь говорить по телефону с покойником, беседе конца не видно.

Я установил автоответчик. Современное изобретение» признак цивилизации, он специально для того и создан, чтобы говорить, что меня нет в природе, что нет Павловича, что я – мистификация, розыгрыш, и вообще по другому делу. Конечно, некоторые внешние признаки существования налицо, но это только литература.

Ничего не вышло.

Бывают люди, у которых совесть с автоответчиком. И все прекрасно. А я никогда не умел правильно устроиться.

Мне снова пришлось прибегнуть к своей системе защиты, и я сумел избавиться от всего, особенно от галлюцинаций. Я снова стал удавом, который не обязан ничего знать и не обязан отвечать по телефону. Ни Плющ, ни Пиночет не могут позвать удава среди ночи к телефону.

Они пытались говорить со мной из-за двери. Суки-полицейские. Я вопил:

– Отвяжитесь. Не знаю, что я опять натворил, я газет не читаю, но это не я. Не мой почерк. Я – мерзкое пресмыкающееся. Во мне нет ничего человеческого. Я за себя не отвечаю.

Они взломали дверь, но я подготовился. Купил мышей, даже крыс. Я стал глотать их на глазах у полицейских, чтобы доказать, что я – удав и с Пиночетом ничего общего не имею.

Опять меня засунули к нонконформистам.

Я успокоился. Телефонные звонки прекратились. В качестве питона я имел право на необщительность.

Тогда-то моя система защиты и начала действовать по-настоящему.

У меня есть дядя, которого я зову Тонтон-Макут, потому что во время войны он был летчиком и с большой высоты уничтожал мирное население. Время от времени он проходил курс дезинтоксикации в Копенгагене, в клинике доктора Христиансена. Он не пьет, не принимает наркотиков, поэтому я думал, что он таким образом выводит из себя убитое мирное население. Дезинтоксикация себя самого от себя же.

Оказалось, не так. Тонтон-Макут ездил лечиться к доктору Христиансену, потому что курит слишком много сигар.

Я воздержусь от комментариев. Полностью воздержусь.

Я мог бы говорить о нем часами, потому что тут куча забавных историй. Он вообразил себя моим отцом и считает, что я испытываю к нему сыновнюю ревность. Все это курам на смех. Я мог бы вам сказать, что у нас с Тонтон-Макутом ничего общего, что он только двоюродный брат моей матери, наследственности тут никакой. Кстати, с его стороны тоже ничего хорошего: диабет, рак, чуть выше – туберкулез, остальное в печи концлагеря, сами понимаете, зачем мне туда лезть. Мне все-таки на всякий случай вкололи раз инсулин в кагорской больнице. Но это мало что доказывает, и адвокат сказал, что это не улика, если я требую от него признания отцовства.

Надо искать дальше, а не клеветать на Пиночета и компанию. Объявить генетический розыск, добраться до настоящего виновника. Это и называется истоки жизни. А жизнь я чту, потому что всегда боялся полиции.

Значит, Тонтон-Макут на собственные средства отправил меня в клинику доктора Христиансена. Триста крон в день, лишь бы от меня избавиться.

Когда я смотрю ему в глаза – у него шесть пар глаз, но мне иногда удается парочку поймать, – я ясно вижу, что происходит. Он вообразил, что бросил меня в беде, что я ищу Отца, чтобы наказать его.

Значит, нужна Дания, любой ценой.

Здесь мне все-таки надо поделиться с вами некоторыми подозрениями. Объяснить, почему мы друг друга ненавидим, несмотря на такую взаимную любовь.

Тонтон-Макут никогда не скрывал от меня, что, несмотря на всякие узы крови, он очень любил мою мать. Я почти точно знаю, что они спали друг с другом, мне назло и чтобы я потом расхлебывал последствия. Это могло бы все объяснить. И почему я похож на Тонтон-Макута – не внешне, тут он принял меры предосторожности, а морально. Потому что если меня гложет такая потребность в Авторе, так это потому, что я сын человека, всю жизнь продержавшего меня в состоянии безотцовщины. Не надо забывать, что Тонтон-Макут в юности погиб на войне, но потом как-то устроился.

Поэтому я часто чувствовал себя яблоком от яблони, и фигурально это выводило меня из себя, в прямом смысле слова это невозможно. Из своей биологической шкуры живым не выскочишь.

Я как-то ему на это намекнул, он чуть не подавился.

– Ты совершенно спятил. Я любил твою мать как сестру.

– Это еще больше похоже на кровосмешение, это еще гаже.

– Ты не мой сын! Подлая клевета!

С его стороны это было не очень красиво – так брезгливо ко мне относиться. Если для него унижение, что я его сын, значит, я и вправду мало кому делаю честь.

– Твоя мать была святая!

Да, но только знаю я его. Он греховодник, каких мало. Трахнуть святую – наверняка было мечтой его жизни. Только чтобы не снимала нимба и монашеской одежды, и вперед. На нем просто пробы негде ставить. Только ему может прийти в голову такая мысль.

Не знаю, передаются ли по наследству приобретенные свойства, но если да, то мне досталось целое состояние.

Когда я прибыл в Копенгаген, мне сразу стало лучше: вокруг туман, и ничего не видно.

Я, правда, чуть не попал в драку в аэропорту, когда хотел поцеловать датского таможенника. Я был в состоянии типичной эйфории. Несмотря на все улики, накопившиеся против и собранные в основном «Международной амнистией», врачи признали, что я не отвечаю за свои поступки и, значит, невиновен в совершенных мною преступлениях. Сколько мне пришлось хитрить и изворачиваться, сколько нужно было внутреннего вранья, симуляции и как бы вроде чего-то такого! Только журналисты, разоблачившие меня в ноябре 1975 года, при объявлении литературных премий, и решившие, что я – вымышленное лицо, мистификация, коллективное творчество и подмена, – только они могут оценить.

Датчане говорят на иностранном языке, мы друг друга не понимали, и я чувствовал, что отношения у нас сложатся хорошие. Мне они показались очень не похожими на меня, значит, мы пойдем друг друга. Таможенник даже не открыл мой чемодан, набитый взрывчаткой из новостей и средств массовой информации, тогда как раз в Северной Ирландии от взрывов бомб гибли женщины и дети. Я весь набит взрывчаткой и чувствую, что вот-вот взорвусь. Я уже несколько раз предупреждал себя анонимными звонками, чтобы успеть вовремя очистить помещение. Состояние общей тревоги.

Когда я увидел, что датский таможенник мне верит и не требует открываться, я растрогался до слез. И решил его поцеловать, потому что я жутко боюсь таможенников, обысков, досмотров и почувствовал огромное облегчение и благодарность.

Тонтон прервал свое лечение и приехал встретить меня в аэропорту. Этот намек показался мне глубоко оскорбительным. Значит, я по характеру так вреден, что мое присутствие автоматически прерывает всякое лечение, просто слов нет, чтобы назвать эту инсинуацию. Терпеть не могу человеконенавистничество. Считать меня экологической катастрофой, вроде разрушения озонового слоя, который защищает вас от избытка ультрафиолетовых лучей, – это чистойшей мизантропия, или я в этом ничего не понимаю.

Все равно неправда, хотя назавтра газеты писали, что я вызвал свалку в копенгагенском аэропорту. Да, точно, я почувствовал себя оскорбленным этим прерванным из-за моего вредного характера лечением. Но свалка на выходе из самолета была вызвана обстоятельствами, не зависящими от моей воли. Я вам уже говорил или, может, не говорил, потому что это одно и то же, что я учился филологии, хотел изобрести язык, который был бы для меня абсолютно чужим, абсолютно иностранным. Я бы тогда думал, не опасаясь источников страха и слов с двойным дном, внутренней и внешней агрессии, подкрепленной соответствующими доказательствами.

У меня не вышло из-за тотальной слежки. Мозг прекрасно знает, что, если нам удастся изобрести совершенно новый, ни с чем не связанный язык, с нашим безумным характером будет покончено. Чтобы избежать этой опасности, источники страха снабдили нас специальным мозгом, поддерживающим нас в стадии ломки, незавершенности и карикатуры.

И я отказался от поисков первородного языка и ограничился угро-финским, сдобренным кое-какими дородовыми видами лепета, чтобы не терять надежды. В аэропорту, увидев себя со всех сторон окруженным датчанами, я прыгнул на стойку Эр Франса и обратился к собравшимся на угро-финском, с невинной целью установить между нами отношения братской вражды и непонимания.

Утверждение, что народы и отдельные люди бьют друг друга по морде от непонимания, – ложь. Они бьют, когда начинают понимать.

Вот тут и случился инцидент.

Меня поняли.

Не могу объяснить вам, что произошло. Уверяю вас, я обратился к датчанам на угро-финском, от чистого сердца и в здравом рассудке. Широко известен тот факт, что датчане по-угро-фински не говорят. Однако меня тут же поняли, и, как я вам уже говорил, как только возникает понимание, возникает и непонимание, ярость, возмущение, оскорбление и скандал. Приехала полиция, стали снимать меня со стойки Эр Франса, я что-то вопил на угро-финском, вмешался Тонтон-Макут, вызвали сантранспорт. . . Признаюсь, что, потеряв надежду остаться непонятым и выразить таким образом мои братские чувства к близким по духу, к братьям, я впал в ярость и немного помахал кулаками. Потому что больше всего на свете я ненавижу насилие, а когда я увидел санитаров, то сразу понял, что будут умирять. В таком случае единственный способ доказать свою нормальность – это двинуть кому-то по морде.

В санитарной машине Тонтон-Макут сидел рядом и с понимающей улыбкой следил за мной:

– Знаешь, Алекс, ничего у тебя не получится. . .

Меня зовут не Алекс, но я терпеть не могу, когда меня называют моим настоящим именем. Так нетрудно и выследить человека.

– Чего у меня не получится?

– Не писать. Ты будешь писателем. Настоящим. Станешь профессионалом. Как я.

– Пошел ты, – сказал я, вспомнив про книгу Раймона Кено «Зази в метро». Я давно уже искал, куда спрятаться.

– Я тоже пытался как бы что-то изображать, – сказал Тонтон-Макут и вынул сигару изо рта, чтобы сделать ей небольшую дезинтоксикацию. – Я чуть не стал послом Французской Республики, но вовремя остановился, потому что всему есть границы. То, что ты слегка чокнутый, – неплохо. Кстати, легкая ненормальность, хочешь ты или не хочешь, всегда есть самая подлинная сторона человека. Гены врать не могут. И если ты немного не в себе, то, значит, это твое человеческое лицо. Не дури, Алекс, Делай как я. Как все великие люди. Достоевский, Бальзак, Солженицын. Жри дерьмо. Так рождаются шедевры.

– По мне, лучше пусть не будет ни Пиночета, ни шедевров. Лучше без Солженицына, чем в грязи и крови. Лучше без Раскольникова, чем с Достоевским. Себестоимость «Войны и мира» слишком велика.

– Только не перебарщивай с ненавистью к Пиночету, к ЦРУ, к обществу и т. д., к человеческому страданию, – сказал Тонтон. – Тут нужна тонкость. А то получится мелодрама, и ты будешь не просто человеком, а чем-то еще гаже.

– Пока ты будешь у меня маячить перед глазами, я не напишу ни строчки, – сказал я.

Тонтон-Макут, казалось, немного успокоился. Не очень-то он любит конкуренцию.

И все же вид у него был довольно грустный. Думаю, он загрустил потому, что когда-то очень любил мою мать, свою двоюродную сестру, а использовать это в книге не получилось.

– Только не понимаю, – сказал он, – почему ты меня так ненавидишь. В конце концов, я тебе ничего не сделал. Ты не должен испытывать ко мне ни малейшей благодарности. Откуда же такая злоба?

Я на минуту заколебался.

– Что толку стараться, невозможно дышать и не любить, – сказал я ему. – Тебя или кого другого – какая разница.

Сирены у датской «скорой помощи» не такие душераздирающие, как у нашей. Может, потому, что в Дании не так больно, и потому не надо так сильно орать.

В больнице мне дали вполне приличную комнату, и Тонтон-Макут заплатил за три месяца вперед, чтобы не думать обо мне каждый месяц.

Я знаю: прочитав эти строки, он скажет, что я сволочь. Эта мысль для меня невыносима, поэтому прошу вас покрепче ее запомнить. Так легче выносить других.

Меня очень любезно принял доктор Христиансен, русский великан с русой бородой геолога, у которого нет ни времени, ни бритвы.

Я очень люблю датчан из-за викингов. Они им вроде бы и не предки, у них нет ничего общего, и, значит, датчане могут спокойно ими гордиться.

Мы поговорили про викингов, потому что для психиатров все темы хороши.

– Знаете, – сказал он мне, – викинги, мореплаватели и первооткрыватели Америки – это аллегория, миф. Настоящие викинги бороздят моря страха и открывают новые земли. Вы, Рудольф, – викинг.

Он называл меня Рудольфом, потому что уже со мной познакомился.

– А что еще такого стоящего нужно открыть?

– Единственно возможные ответы – это вопросы, Морис. Вопросы – вот настоящие викинги. А ответы – это песни, которые викинги поют друг другу в пути, чтобы не падать духом.

Он приказал выдать мне разных письменных принадлежностей. И никаких лекарств. Никаких процедур. Только письменные принадлежности.

Вечером Тонтон навестил меня в моей палате. Я был у него на совести. Не знаю, в чем там он себя упрекает. Раз он говорит, что не зачинал меня, – значит, не обязан быть хорошим отцом.

– Надо было мне убедить тебя в двадцать лет заняться медициной. Но я думал, ты неспособен на семь лет усидчивости. Жаль.

– Неважно. Я говорю, что хотел быть врачом не в смысле «лечить больных». А чтобы все стало яснее. Анализы. Биология, генетика и все такое прочее, Знать, откуда что пошло.

– Что пошло?

– Мозг. Похоже, тут ошибка природы. . . Или подлый, злобный умысел. Худшее наказание, чем создание мозга, придумать трудно.

– Гёте. . .

– Да, знаю, музеи, лекарства. Идеальное преступление с железным алиби. У моего отца был сифилис?

– Нет.

– Он пил?

– Не знаю. Немного.

– Надо было взять у Адама анализ крови.

– Слушай, Фернан, кончай трястись из-за наследственности, с этой стороны тебе нечего бояться. Зато другая сторона, еще более атавическая, или социальная, – как раз по твоей части. Правда, твоя больница стоит мне двадцать тысяч в день, так что Пиночет, Плющ и прочие нынче недешевы. Поживи здесь какое-то время, если тебе здесь хорошо, но попробуй что-нибудь другое. Другой способ защиты. Ты когда-то писал стихи – выходило очень красиво.

Знать не хочу про эти стихи. Я просил одного человека вернуть мне их, но он десять лет назад дал их кому-то другому. Я бы их сжег. Но они поклялись, что стихи продали и что я могу спать спокойно.

Фигня мои стихи, потому что, если нет Автора, нет и книги. По-моему, это бесспорно. Азбука небытия.

В первую ночь в больнице я чувствовал себя на удивление спокойно. Вокруг меня было что-то такое, что я напоминал зародыша. Не было никаких причин успокаиваться, и это отсутствие причины умиротворяло. Может быть, во мне прорастала поэзия, тихая и смутная мелодия, не попавшая в словесную западню. Но больше никогда я не буду писать стихи. Все стихи, не только мои, – пропащее дело.

Видимо, доктор Христиансен подсунил мне какой-то наркотик, вакцину правды, пентотал, не знаю что, но иногда ночью, тщательно закрыв ставни, я шептал «люблю», а шепот – может быть, самая громкая вещь в мире.

Вокруг меня стояла такая тишина, что я слышал, как где-то далеко кто-то другой наконец говорит что-то новое.

Я помню все так, как будто это и вправду было. Мне случалось даже иногда ясно слышать в тишине первое слово, никем не сказанное и неподкупное, потому что оно было не из наших. Казалось, оно было таким новорожденным и слабым, что можно было начинать на что-то надеяться.

А может, это опять мои человеческие свойства подложили мне свинью.

Я все-таки стал потихоньку писать, потому что выбор был или писать, или химиотерапия. Уколы неведомой дряни с целью ввести меня в норму.

Я писал по несколько часов в день, возвращаясь в палату, только чтобы себя не видеть. На литературный труд всегда ходят как на работу, с завтраком.

Я писал и боялся: у слов есть уши. Они подслушивают нас и приводят людей. Слова обступают вас, окружают со всех сторон, льстят и заискивают, а стоит только им поверить, и кляц! Они хватают вас, и вот уже вы, как Тонтон-Макут, у них на побегушках. Вы ползаете перед ними на брюхе, лебезите и расшаркиваетесь, несете все одну и ту же чушь. Мне случалось уже встречать красивейшие слова, которые подлизывали такие грязные тарелки и водились, без зазрения совести, с такими ярчайшими отбросами, что мне пришлось лечиться по методу Сакеля уколами 50 мг бромацетилколина и фолликулина, потому что у меня не хватало духу говорить.

Отпечатки пальцев Тонтон-Макута можно найти на всех несчастьях человечества. Из всего он делал бестселлеры.

Невозможно представить, в каком трудном положении я оказался. Я вроде мог бы не писать и не публиковать, отвергнуть жанр в целом, но это опять стихи, признание в тайной поэзии. Это романтизм, жестикуляция, растрепанные чувства и стремления, типично литературные отношения и позы. Не писать, из принципа и из чувства собственного достоинства, по возражениям совести» что носит более книжный и более лирико-блеющий характер, – какой способ выражения, какой акт веры?

Я испытал огромное облегчение при выходе в свет второй книги, – читая начертанные авторитетнейшими перьями утверждения, что Эмиля Ажара де нет. Я вырезал эти статьи и наклеил их на окружающие меня стены: когда меня со всех сторон охватывают сомнения, подозрения, внешние данные, затруднение дыхания, холодный пот, тревога и прочие признаки жизни, иногда создающие убедительную иллюзию и способные обмануть даже меня, я сажусь в кресло лицом к этим свидетельствам братской дружбы, зажигаю короткую трубочку, набитую английской флегмой, и читаю и перечитываю доказательства несуществования, которым полагалось бы уже тысячелетия висеть на наших стенах.

Когда в результате предательства и обмана, пока я лежал в кагорской больнице, вышла в свет моя первая рукопись, я стал протестовать. Я был уверен, что все это подстроил Тонтон-Макут, в надежде, что книжка будет хорошо продаваться и я смогу сам оплачивать свое

лечение, и еще потому, что он всегда хотел, чтобы я стал таким же, как он, соглашателем, словесным подпевалой, словесным прихлебалой, потому что слова – дело доходное.

Я все отрицал. Вопил, что пишу только для того, чтобы у меня было меньше проблем, чтобы избежать химиотерапии. Но в итоге я решил, что будет безопаснее разрешить публикацию, а то еще обвинят в бредовом идеализме с элементами мечтательности и мессианства. Я, кстати, из предосторожности поставил под первым договором чужую фамилию, чтобы меня не вычислили. Бывает такая невидимая и вездесущая полиция, готовая наброситься на вас при первом признаке существования и нашпиговать судьбой по самые помидоры. Одновременно я мог ловко использовать себя для попятного маневра в нужном направлении: стать писателем, чего я не хотел ни за что на свете, потому что это было мое сокровенное желание. Мне пришлось работать не покладая рук, чтобы перевести чувство вины в мастурбацию, которая официально признана главным подручным источником чувства вины и потому представляет отличное алиби.

Весь ужас моего положения проистекает из того, что я все ясно понимаю. Любой кретин психиатр скажет, что здоровый ум – самый распространенный признак людей, страдающих депрессией.

Но будьте уверены, я им задал нелегкую задачку. Большинство обследовавших меня психиатров уходили от меня с полной уверенностью, что у них паранойя и мания величия, потому что они воображают, что они люди, человеки с большой буквы, с четырьмя лапами и мордой, которая вынюхивает разницу между дерьмом и кровью. Я навожу на них такую жажду почестей, что они уходят от меня убежденные, моими усилиями, в собственной человечности.

Извините, что так ору, просто я в данный момент окружен полицейскими, которые быстро выдвигают пожарные лестницы и вот-вот дотянутся до меня вооруженными агентами, воем сирен и ружьями с оптическим прицелом, меня вот-вот застанут на месте преступления направленные в Каньяк с этой целью журналисты. Вроде бы я получил Гонкуровскую премию, без дураков. Во-первых, я даже не знал, что есть такая премия, Гонкуровская. Это раз. Потом я отвел свою кандидатуру на присуждение Гонкуровской премии накануне голосования. Это два. И наконец, меня предал Тонтон-Макут, и я это прямо сейчас докажу. Вот вам и три.

Вокруг бродят телекамеры и готовятся сенсации. Завтра скажут, что я взял самое дорогое, свою мать, умершую в страшных мучениях и слишком медленно от склероза сосудов мозга в кагорской больнице, и сделал на ней книгу и литературную премию.

Я потерял голову. Я полностью распался на куски из-за слишком хорошей видимости, но, к счастью, правая рука осталась за мной, она держит ручку, и, как видите, я продолжаю писать, потому что когда я пишу, то нахожу временное укрытие от безответственных психических элементов. Голову я сохранять за собой не хотел – все равно она не моя. Я ношу лицо взрослого человека.

Добавлю, что Тонтон-Макут утверждает, что эта исповедь, которую я пишу здесь, в департаменте Лот или, словом, где-то, будет мной немедленно превращена в книгу и все мои, так сказать, потроха пойдут в печать, но я так никогда не сделаю.

Он даже предложил мне пожить у него, если так мне удобней писать.

Задолго до Копенгагена я узнал про существование в психиатрии школы антипсихиатрии, которая направила мне свои предложения. Психиатры этого направления утверждают, что если по-другому устроить общество, семьи устроить по-другому, то – цитирую – такие случаи, как ваш, а также миллионы им подобных будут исключены. Я прекрасно понимаю этих антипсихиатров: надоели им такие случаи, как наш, они хотят, чтоб случай был другой. Им нужно что-то новенькое. Они хотят поменять общество, чтобы поменять этот сучий случай. Здесь раздается мой безумный хохот, ха-ха-ха, потому что чего слова точно не выносят, так это каламбуров и словесной игры: так недолго и проиграться. Отнимите у слов серьезный вид, их пустоту и как бы вроде нечто, и тогда им грозит здоровье и толстые красные щеки. Слова не выносят здоровья, потому что от него худо.

Если нынешние психи перестали всех устраивать и надо изменить общество, чтобы вывести новых психов, – нас, психов старого образца, это полностью устраивает. Только надо собрать Всемирный съезд психиатров, договориться, какого типа психов выводить, а уж потом создавать общество в зависимости от выбранного психоза, от количества психов, необходимого для его функционирования, от полезного применения, которое им найдут, от должностей, которые для них предусмотрят в специальных учреждениях, при одновременной культурной, идеологической, военной и экономической деятельности, способствующей распространению нужного психоза и размножению искомого типа психов. Вот что называется уровень жизни.

Благодарю присутствующее здесь общество за то, что оно более, чем кому-нибудь другому, помогло мне стать психом. Вот-вот заплачу от благодарности.

А теперь покончим с вопросом об утке. Да, я утка, как догадались некоторые газеты и радиостанции.

Уточность легко распознается по непомерным крикам, раздутости и внутренней пустоте, в которой звенит никогда не наступающее будущее, по следам слез, холодного пота и крови.

Но миллионы и миллионы *самых настоящих уток* можно узнать по полному отсутствию каких-либо признаков. Часто они не умеют ни читать, ни писать, и уточность ловко скрыта от них самих.

В Бангладеш – девяносто миллионов газетных уток. В Чили, в Аргентине, повсюду помаленьку убивают и мучают тех, кто пытается утверждать, что доведен до состояния утки.

В Африке, видя детишек с раздутыми от голода животами, никто не спрашивает, кто запустил эту утку. Все равно помрут, и чаще всего, не успев повзрослеть.

По-настоящему все началось три года назад, когда они поняли, я решил бороться до конца и перейти на ту сторону. Они стали на меня давить.

– Публикуйте. В лечебных целях. Под псевдонимом. И не беспокойтесь. Никто не поверит, что вы на это способны. Если книга пойдет, – скажут, что виден талант и техника, значит, новичок так не напишет. Тут дело рук настоящего профессионала. И вас оставят в покое. Скажут, что вы подставились. Сдали имя напрокат. Одним словом, литературная шлюха.

Я растаял. Когда при мне говорят слово «шлюха», я таю. У человека всегда есть потребность в вечных ценностях.

– А если получится какое-нибудь дерьмо?

– Если получится дерьмо, то скажут, что это человеческий документ. Человеческие документы всегда дерьмо, потому что в основе их лежит дерьмо. Если бы они имели цену, ценность имело бы и их содержание, но дело ведь не в Южной Африке, правда. У нас так повсюду, зачем обижать Южную Африку. Это человеческий документ. Сделайте-ка нам из Южной Африки абсолютно ничего не стоящую книгу, и тогда она будет действительно подлинным человеческим документом.

И все же я сомневался.

– Одна моя тетка в тысяча девятьсот двадцать шестом выиграла конкурс красоты на Мартинике.

– Послушайте, Павлович, не морочьте нам голову. Мы сами психиатры. Хватит препираться. Пишите. Книгой больше, книгой меньше... Хоть выпустите пар... и хватит мазать всех грязью. Все-таки у нас были Бетховен и Моцарт.

– Да, но Бетховен и Моцарт еще могут стоять нам двухсот миллионов трупов, если китайцам, например, они не понравятся, а мы станем эту парочку защищать.

– Хватит цепляться к деталям. Вы не можете всю жизнь кочевать по больницам, тут не хватит ни страховки, ни денег вашего дяди. Пишите, какие к вам могут быть претензии, вы же признаны психом с тех пор, как принялись каждый Божий день вызывать на помощь полицию.

– А что это доказывает? Миллионы людей каждый день зовут на помощь.

– Да полно вам. Психи – да. А миллионы других людей сидят и не рыпаются, потому что они в здравом уме и знают, что звать на помощь бесполезно. И даже опасно, потому что можно и получить.

Я молчал. Это правда, есть у меня одна небольшая проблема. Каждый раз, едва покажется солнце, я зову на помощь. Я хватаю телефон и звоню в Красный Крест, в Католическую помощь, Великому французскому раввину, малому французскому раввину, в Объединенные Нации, Улле-Богоматери, но поскольку все уже в курсе и собственными глазами видят, что встает новый день, и по той же причине завтракают, я натываюсь на повседневность, и снова все по нулям.

И тогда я становлюсь удавом, белой мышкой, доброй собачкой, чем угодно, чтобы доказать, что я тут ни при чем. Отсюда изоляция и лечение для введения в норму. Я не сдаюсь, заматаю следы, бегу от себя. Пепельница, нож для бумаги, неодушевленный предмет. Неважно что, лишь бы было что-то безответственное. Вы считаете это безумием? Я – нет. По-моему, это закономерная оборона.

И то правда, они пытались мне помочь. Рылись в моей помойке, пытались докопаться до сути. Кто-то из исследователей обнаружил, что в четыре года я, играя, убил котенка, и с тех пор у меня чувство вины, угрызения совести, ненависть к себе. Я переносу ее на Освенцим, Пиночета, ГУЛАГ – и все прочее годится на то, чтобы я сам выглядел чище. И главное, не

геноцид и не камеры пыток. Все дело в котенке.

Это мне совершенно не помогло – ко всему прочему еще добавился котенок.

– А если меня напечатают, вы меня выпустите?

– Мы вас отпустим домой когда угодно. Раз в неделю будете заходить отмечаться.

Я в знак согласия только кивнул, но с оттенком сомнения. Мои ответы часто записывались на магнитофон, для последующего изучения, а кивки – нет.

Я не мог ничего обещать, не посоветовавшись с Алиет.

Алиетта закончила филфак и поступила продавщицей в супермаркет, а потом по моему совету стала испанской королевой – и, таким образом, получила доступ к социальному страхованию и оплате больничных листов. Я три месяца натаскивал ее по истории Испании, потому что псих-больницы переполнены и действует жесткий отбор. Я тогда был водопроводчиком, каменщиком, расклейщиком афиш, потому что работа невероятно делает вас как бы вроде чем-то и вас уже не поймать. Все вами довольны. Но все это до поры до времени, потому что мозг, я уверен, тоже дождется своей Великой французской революции.

С моим опытом и поддержкой Алиетта стала сначала королевой Испании, а потом – простой принцессой: оказалось, что испанская королева подчиняется неумолимому великому Церемониалу, Этикету и Протоколу. Глупо по собственной воле влезать в такие дебри.

Когда обществу надоело о нас заботиться или Тонтон-Макут выходил из себя при виде наших больничных счетов, Анни шла работать на монтаже фильмов, потому что это все равно как в кино. Я работал в двадцати разных местах, одно незаметнее других, и был на хорошем счету. У нас родилась девочка, но мы ее не слишком афишировали: она была совершенно нормальной и могла ненароком бросить тень на мое как бы вроде что-то и на мою принцессу. Я выговорил у Тонтон-Макута право на три недели больницы в год, и ни днем больше. Это было до Дании, до моего большого приступа искренности. Итак, у меня было только три недели в год на то, чтобы тренироваться, приглядываться, учиться и готовиться.

Я купил удава и вел за ним наблюдения для написания своего первого документального труда, «Голубчика», но этот гад залезал во все дыры и исчезал с глаз, потому что не желал лежать в основе литературного произведения.

Несмотря на оговоренные три недели в больнице, я смог выклянчить дополнительно десять дней, кстати, как раз благодаря удаву. В то время я сам был на мели, Анни из-за кризиса воображения не могла найти никакого фильма, и мне было лень влезать в шкуру водопроводчика или мусорщика, Тысячелетнее обожествление труда сидело у меня уже в печенках, и каждый раз, когда я в поте лица зарабатывал свой хлеб, в таком качестве он казался мне так отвратителен, что желудок мой хлеб этот не принимал и я отдавал его назад.

И настал момент, когда мы с Анни оказались у себя в Каньяке в такой жопе, что я уже не сомневался, что окружающая действительность издевается над нами, просто живот надрывает, глядя на нас, показывает на нас пальцем, потому как последнее слово всегда остается за ней.

Мы с Анни посмотрели друг другу в зрачки. Жрать хотелось, это закон сохранения видов, а бабок не было вовсе.

– Что будем делать?

– Ты поедешь жить к родителям.

– А ты?

Я хлопнул себя по лбу. Не знаю, как мне пришла в голову эта мысль. Думаю, сыграла гениальность моего дедушки по материнской линии, – он ведь даже ни разу не сидел, такой был хитрый.

– Господи, да удав же! – заорал я.

Назавтра я спокойно гулял по улицам Кагора с удавом на веревочке. Голубчик ползал и никого не трогал, переходил дорогу в положенном месте, на зеленый сигнал светофора, словом, вел себя примерно. Но тут нам повстречался полицейский – и что же он сделал? Нарочно наступил на удава. Сволочь. Поставил на него свое копыто, как только увидел, что это удав, просто из ненависти ко всему новому, оригинальному, нон-конформистскому. Я возмутился:

– Черт поberi! Да вы нарочно!

Он, казалось, удивился:

– Что – нарочно?

– Наступили на моего удава.

Тут уж я его и вправду озадачил. Невероятно, как все они умеют притворяться,

– Какого удава?

– Как какого? Вот этого. – Я показал пальцем на Голубчика. – Я тут спокойно гуляю с удавом на веревочке, а вы по нему ногами ходите, и все оттого, что он не местный.

Полицейский посмотрел себе под ноги. И побагровел.

– Нет здесь удава, – сказал он с фальшивой самоуверенностью, потому что ничто так не выдает сомнение.

Голубчик напоказ вылизывал себе отдаленное полицейским место.

– А это что, по-вашему? Не удав?

– Блин, – сказал полицейский, потому что у него тоже был словарный запас. – В Кагоре удавов нет. Тут вам не Африка.

– Ах так, значит. И всех африканцев – вон. Вы увидели моего удава и тут же, как расист, наступили ему на морду.

– Фу ты черт, – только и сказал полицейский, потому что, несмотря ни на что, полицейские чтут закон.

И что же сделал этот гад? Достал из кармана свисток! Но и свисток не увидел моего удава. Тогда он громко и четко соврал:

– Здесь нет никакого удава.

Свистки не разговаривают. Это была такая грубая полицейская провокация, что я обалдел. Я не буйный, но когда свистки отрицают существование удавов в Кагоре, это такой вопиющий факт, с гнусными намеками на то, что вы псих, что есть с чего разозлиться.

И что же сделал это негодяй, получив от меня по заслугам? Он достал из кармана другого фараона, а тот – третьего, и глазом я не успел моргнуть, как все вокруг кишело озверевшими фараонами, из которых, как из матрешек, вылезали все новые фараоны, вокруг меня кишели удавы, не признающие удавов, их становилось все больше и больше, они плодились и распространялись, хватили меня, и окружали, и росли, и множились, и я вдруг почувствовал себя глобальным и так испугался, что стал орать и звать на помощь Пиночета, – но нет в мире доброго боженьки. Очнулся я в участке, и тут мне не повезло. Комиссар Отченаш помнил меня по генетическому прошлому и знал, что я связан со старейшей королевской династией Европы.

– Слушайте, Пехлеви, хватит с нас ваших акций протеста. Не нужно нам тут левацких провокаций. Кагор спокойный город. Езжайте, устраивайте такие штуки у психов в Париже, Пехлеви.

– Павлович я, а не Пехлеви, – отвечал я ему с достоинством. – Пехлеви Реза – это иранский шах. А не я,

Он порозовел.

– Я отлично знаю, кто иранский шах, а кто нет, – сказал инспектор Отченаш, нажимая на «р». – И не принимайте на себя, потому что оскорбления иностранной главе, Пехлеви, – они влекут за собой!

– Павлович! – крикнул я, но тихо, потому что и сам уже не был в этом уверен, я ведь то там, то тут, то меня убивают, то меня пытаются, то меня расстреливают. – Нечего тут намекать! Павлович вам не Пехлевич! Пехлевич – иранский шах, а иранский шах – не я!

– Я и не говорю, что вы иранский шах, вашу мать! – гаркнул он. – Это вы его вытащили на ковер!

– Я не шах иранский, и нечего намекать на персидские ковры! Я не шах иранский, кому знать, как не мне, я он и есть! Я он самый я! А он Пехлевич! Я не иранский шах, я тут вообще ни при чем! ИРАНСКИЙ Я НЕ ШАХ!

На десять дней меня поместили в больницу. Жилье, белье, питание, уход, стул и секс за государственный счет, и все оттого, что я точно не иранский шах, плюс говорящие свистки, полицейские матрешки и удав в придачу.

Элен – надо менять имена, иначе вас могут выследить – тоже пристроилась ко мне. Походила немного по Кагору в платье принцессы с туманным взглядом и с виолой под мышкой. Ее дядя дружил с муниципальным советником от левых сил, и когда тот увидел средневековую принцессу, разгуливающую по Кагору с виолой в руках, пытливо вглядываясь в грядущее, то сразу понял, что она высокий политический гость и вестник перемен. Он посодействовал, и Анни от греха подальше поместили в психушку.

Забыл сказать вам, что Алиетта красавица, но я не хозяин своему воображению, и мне случается видеть красоту там, где все остальные видят только физические формы. Я скрываю это, потому что испытываю понятную тревогу, сталкиваясь с человеческой потребностью в уродстве.

У нас есть любимая скамейка в парке у замка, и те, кому положено по службе, оставляют нас в покое. Как только вас объявляют психом, люди начинают относиться к вам благожелательно, потому что это не политика.

Одно было досадно: удав пополз за мной в клинику. Ночью он обвивался вокруг меня, и я начинал задыхаться. Пришлось писать, чтоб от него избавиться. «Голубчик» стал моим первым опытом самолечения. Род самообслуживания, как говорится каждый раз, когда можно обслужить себя самому. С первых страниц мой удав начал таять, и, когда я закончил книгу, он полностью исчез.

Теперь мне нужен был другой сюжет для самозащиты и самоэвакуации. Но, как известно каждому, с сюжетами у нас сейчас плохо. Не то чтобы их не хватало, нет, слава Богу, просто большинство уже использованы. Есть еще сюжеты, которых мне не надо ни за какие деньги, очень уж они воняют. Речь даже не о Чили, хотя как не упомянуть его в романе? Вот в Южной Америке отличные писатели, им есть о чем писать. Или шесть миллионов уничтоженных евреев, но это дело прошлое. Были еще советские лагеря, архипелаг ГУЛАГ, но по избитому пути мы не пойдём. Была война в Бангладеш, изнасиловано двести тысяч женщин, – казалось бы, хорошо, в книге должна быть доля сексапильности, но это уже не актуально, все вышло так быстро. Была тема американских негров, но черные писатели Америки жутко злятся, когда покушаются на их сюжеты. Были случаи голода, коррупции, массовые убийства, ужас и насилие в Африке, но писать об этом нельзя, выходит расизм. Повсюду истории с правами человека, но это – курам на смех. Можно, конечно, писать про ядерное оружие, но это единственное, что объединяет СССР, США, Китай и Францию, я не против братских чувств, нужна же людям надежда. Было истребление цыган, о нем мало говорили, но документация пропала в газовых камерах. Можно было писать про ООН, только это чересчур грязное дело. Или о свободе, – хотя Рене Клер уже снял на эту тему комедию. Повсюду море разлитое страха, крови, ужаса, но над ним уже работали тысячи писателей. Был вариант молчать, но и за это по головке не погладят.

Мне нужен был оригинальный сюжет.

И тут впервые я подумал про «Жизнь впереди». Моя мать умирала в той же самой кагорской больнице от вялотекущего склероза мозговых сосудов три года подряд, то приходя в себя, то снова выпадая.

Вот золотой сюжет. Мой сюжет. Оригинальный сюжет.

Я впал в депрессию, не хотел подчиняться. Но как тут не подчиниться, если ты настоящий писатель. Тонтон-Макут – настоящий писатель, а он выжал из своей матери все, что смог.

Как от всего этого избавиться? Не думать? Забыть?

– Напиши книгу.

– Алиетта, Алиетта, молчи. . . Я знаю.

Она улыбнулась мне нежно, как в дамских романах, и без всякой книжной скромности сжала мне руку.

– Не могу. Вдобавок они поймут, что это у меня наследственное.

– Это трудно, я знаю. Когда я закончила филологический, я тоже хотела писать. Но не хватило духу. Я хотела сказать о чем-то настоящем. Но ты же знаешь, настоящие вещи трогать нельзя. Это табу. Любовь, ребенок, мать, сердце, ну, в общем, орган чувств, – все

это как-то несолидно. Слезливо, мелочно, чувствительно, сентиментально, посредственно – словом, нелитературно. И не ново. Вечные темы, а вечные – значит, реакционные, потому что не хотят меняться. Все это неоригинально, не открывает новых горизонтов.

– А жрать дерьмо, по-твоему, авангард?

– И еще я заметила, что настоящие вещи уже и не представить. Чтобы найти их, чтобы до них добраться, надо преодолеть немыслимые культурные заслоны, вести настоящие археологические раскопки, а потом тебя обзовут реакционером, потому что постоянные величины не меняются, постоянное – это отсталое. У меня не хватило воображения найти настоящие вещи, Зайчик мой Жанно. Они погребены под слоем лжи и как бы вроде их же собственными обломками. Можешь сам попробовать. Чем искренней ты будешь, с тем большей радостью все скажут, что ты – пустое место. Чем больше говоришь правду, тем больше ее прячешь, Зайка Жанчик. Валяй. Пиши. Печатайся. Не бойся, тебя не раскроют. Твоя мать и брат могут спать спокойно.

– Я боюсь.

– Если тебя выследят, всегда сможешь вернуться в больницу. Я буду ждать тебя. Они скажут: «Вы что, не поняли, что он психопат?»

– Я боюсь.

– Страх – это просто еще одна настоящая вещь.

– Они будут безжалостны. Презрительны, насмешливы. Меня будут ненавидеть, отвергать. Это тебе не массовые убийства, не лагеря пыток, Алиет. Это им понятно, к такому они привыкли, это рутина. Ты не все про меня знаешь. Когда мне было четыре года, я убил котенка. Это тебе не Пиночет и не вырезанные груди женщин в Бейруте, это-то им понятно, а тут – котенок. Они не простят.

– Согласна. Но ты же не обязан все говорить.

– А если догадаются, что я нормальный?

Впервые с сотворения мира у нее в глазах вспыхнул гнев.

– Не говори глупостей. Если бы ты был нормальным, меня бы здесь, с тобой, не было. Если бы ты был нормальным, я бы плюнула тебе в лицо.

– А когда мы снова будем спать вместе?

– Вопрос нелегкий, Зайка Жанчик. Серьезные психи вроде нас лишены сексуальности. А то можно вызвать подозрения. Но я обещаю сделать так, что мое состояние резко улучшится. . . Встретимся вне больницы.

Она серьезно на меня посмотрела:

– Конечно, пока меня тут не будет, кто-то должен кормить единорогов. Теперь их у меня сто.

– Лучше уж не говори им о своих единорогах.

– Ничего, обойдется. Я объяснила доктору, что в детстве у нас дома на ковре был выткан единорог. И с тех пор он всегда со мной. Доктор был очень доволен. Он истолковал это как регрессивный тип поведения и отказ расставаться с детством.

Я твердо сказал:

– Лучше не говорить им про единорогов, Алиетта.

– Да почему?

– На меня от них тоска зеленая нападает. Это животное мифическое. Как человек. Не могу выносить эту мысль. С ума сойду.

– Осторожно, идет Джереми. . .

Джереми славный парень, санитар, бывший регбист из команды Монпелье, девяносто килограммов одних мускулов, но он был тихий, и ему нужно, чтобы рядом были слабые, для

того чтобы чувствовать себя чуть-чуть сильнее.

– Сделаем ему форельку?

Шутка с форелью – классическая шутка психов, она срабатывает всегда, и санитары боятся ее как огня.

– Привет, Джереми.

– Здравствуйте, друзья. Идите обедать.

Я взял Алиетту под руку, мы сделали несколько шагов, потом она остановилась и подняла руку, показывая мне что-то на самой вершине дерева:

– Смотри-ка, форель.

– Где?

– Да вон, на дереве.

На лице у Джереми обозначилось страдание.

Я сказал:

– Алиетта, ну как может форель попасть на дерево?

Она пожала плечами:

– А если она ненормальная. . .

– Все, все, – сказал Джереми. – У меня плохие новости. Говорят, вас скоро выписывают. Вернетесь назад.

Я побледнел.

– На зад? На чей зад?

– Да ни на чей, а к вам. В физическом смысле.

– К нам? Что это значит, к нам? Где это, к нам?

– Ну, этого никто не знает, зато так говорят.

Алиетта поехала к сестре, а я – в Париж, к Тонтон-Макуту. Он обычно селит меня на седьмом этаже без лифта в комнате для прислуги. Я вам уже говорил, что Тонтон-Макута убило на войне и что с тех пор он неплохо устроился. И то правда, в каждом городе полно людей, которые погибли на войне, но все как-то живут.

Может, вам покажется, что я человеконенавистник, но я столько любил, да и до сих пор люблю такое количество людей, что вынужден защищаться. Любовь-то безумная.

Раз или два на меня еще накатывал удавизм, с целью избежать себе подобных и законов жанра, и я уже рассказал вам с должным здравомыслием о том, как, чтобы не нынчиться с удавом у себя дома, Тонтон-Макут отправил меня к доктору Христиансену, в Копенгаген.

Я чувствовал себя хорошо. Я покончил с матерью, напечатал ее и отдал издателю. Доктор Христиансен часто приходил со мной побеседовать в своей красивой русой бороде, которой нелегко расти на таком человеке. Он бегло говорит по-французски, что свойственно гуманистам, то есть я этим хочу сказать, что он не путается в словах.

– Знаю, друг мой, знаю: где гены есть, там наслажденья нет. Но в вашем случае ведь не папа с мамой спали. Дело, в общем, более семейное. Так что ваши гены не гаже других. Не стоит огорчаться.

Может, мне бы это и удалось, если бы на следующий день мой издатель не потребовал предъявить доказательства моего существования. И заодно известила (это была она) о своем прибытии.

Двумя месяцами раньше, в Женеве, я уже встречался с литературным редактором Мише-лем Курно, – это было после моего возвращения из Бразилии, куда я вроде бы и не ездил. Хотя где же я тогда пропадал? Я приехал в Женеву на деньги Тонтон-Макута, не по психическим показаниями, а чтобы сбросить вес в Институте доктора Ленна, который разработал новый метод. Я не мог таскать на себе такую тяжесть, это становилось опасно для сердца. Миллионы и миллионы килограммов, сколько точно – не знаю, я же не геолог, не географ. Точный вес мира неизвестен, он варьирует в зависимости от человека. С помощью доктора Ленна я сбросил несколько килограммов.

Редактор был со мной очень мил. Как-то раз он мне просто сказал: «Это не помешало Гельдерлину оставить великое поэтическое наследие». Все, что я знаю, так это что Гельдерлин тридцать лет пробыл психом. Дороговато за литературную премию. Никакое поэтическое наследие столько не стоит.

Гельдерлин умер сумасшедшим, потому что не сумел сбросить вес.

Но копенгагенская встреча была гораздо опаснее для меня, потому что госпожа Галлимар одновременно объявила мне о прибытии журналистки из Монда, Ивонн Баби. Она тоже ехала убеждаться в моем существовании. Компетентные источники по-прежнему утверждали, что я – это не я.

Я не мог отказаться. Лучший способ доказать, что вы в действительности не существуете, это встретить человека в открытую, с носом, с мордой и разным словесным фоном. Лучшего доказательства небытия не существует.

Итак, я принял своего редактора и госпожу Ивонн Баби в Копенгагене. Встреча состоялась не «в доме у Ажара», как у нее написано, потому что в клинике было нельзя. Жена доктора Христиансена пустила меня к ним пожить. Там был даже садик с собаками. Сенбернарами. Сенбернары не кусаются, несмотря на свою известную репутацию.

Алиетта специально приехала из Кагора, чтобы поддержать меня во время этого испытания. Может, она была не полностью видимой, но я знал, что она рядом.

– Ваша книга производит слегка непричесанное впечатление. . .

Ха-ха. Теперь-то я смеюсь, а тогда было не до смеха. Я совершенно не растрепан. Я трепан. Год за годом меня трепала жизнь.

– Простите, у меня икота.

– Вы знаете, это совсем не похоже на книгу начинающего писателя. . .

Я чуть не описался от счастья. Я вечно писаюсь к месту и не к месту. Мечтаю об облегчении.

Я не произведение начинающего писателя. Я произведен веками и комбинациями заслуженных, тысячелетиями сцеплявшихся генов. Какие уж тут начинающие писатели.

Алиет пришла мне на выручку и подала чай. Я налил себе чашку, положил сахар. Крыс не добавлял. Ничего такого. Чай с сахаром. Все как у людей.

– Вам совсем никто не помогал?

Тут у меня был соблазн. Я мог устроить серьезные неприятности Тонтон-Макуту. Стоило мне сказать слово, и он бы стал орать, все отрицать, протестовать, опровергать, все для того, чтобы своим преувеличенным протестом дать понять, что он очень даже мне помогал, хоть как-то все причесал-пригладил.

В минуту ненависти мне захотелось все это на него навесить. Сказать госпоже Симон Галлимар, что это он убедил меня сделать книгу из мучений моей матери.

И тут случилось необъяснимое. Впервые в жизни мне захотелось быть собой. Не удавом, хотя удавы ни в чем не виноваты, тем более в наших хороших поступках.

– Никто мне не помогал. «Голубчик» целиком автобиографическая книга. Редактор улыбнулся:

– У вас и вправду прекрасное чувство юмора.

Накося выкуси. Попробуйте шесть месяцев быть удавом в Париже – потом говорите о чувстве юмора. Как только гады видят кого-то, кто не похож на них, они кричат: «Гад!»

– По-видимому, литература – смысл вашей жизни, – сказала госпожа Галлимар,

Я кивнул. Алиетта положила мне руку на плечо, чтобы успокоить. В конце концов, это не большее вранье, чем единороги или форель на дереве в Кагоре.

– Должна вам сказать, что снова встал вопрос о литературных премиях. . .

– Вы же знаете, я отказался. . .

Это была правда. Утром в день присуждения литературных премий, в 1974 году, Алиетта отнесла издателю и членам литературных жюри письмо, в котором я снимал свою кандидатуру.

В то время у меня было достаточно причин, чтобы не засвечиваться. Я всегда хотел быть врачом, педиатром, потому что все идет оттуда, и, если вовремя вмешаться, наверно, еще можно что-то изменить, помочь. Но я был не способен семь лет упорно учиться. Поэтому стал делать аборт – так мне казалось, что я спасаю человеческие жизни. Настоящие врачи донесли, что у меня подпольная медицинская практика.

Пришлось лечь на дно.

Я искал другие пути войти в норму и снова завязать отношения с реальностью. Это было мое первое близкое знакомство с галоперидолом и с нейролептиками. Элоиза уже получила диплом филолога, и я трудоустроил ее в публичный дом на улице Гут Дор, там было еще три девицы, обслуживавшие в среднем по полета клиентов в день. Поскольку все посетители были негры, в расизме нас было не обвинить. Элоиза помогла мне собрать факты о жизни проститутки и о Гут Дор и написать «Всю жизнь впереди», которая тогда называлась «Каменная нежность». У меня были неприятности с полицией, которая преследовала проститутку и требовала часть авторского гонорара. К тому же в ходе следственного эксперимента комиссар полиции подцепил гонореею и жутко на меня обозлился. Действительно, если сифилис иногда дает интересные результаты по части гениальности, например у Ницше, Гейне, Бодлера и у многих других, то гонореею никому ничего хорошего не сделала и, в общем-то, является искусством ради искусства.

Я не хотел быть признанным ни буйным, ни наследственным больным, ни, главное, симулянтом, потому что я прекрасно знал, что я – не удав. Нейролептики вызывали моментами особенно жуткую ясность ума, и тогда мои человеческие характеристики просто бросались в глаза.

Словом, неподходящий был момент для того, чтобы предстать перед публикой. Все, что я хотел, – это ни слухом ни духом. Мир в душе.

Поэтому я отказался от премии, но через несколько месяцев написал письмо своему издателю, говоря, что это неправда, что я не отказывался от премии, что первое письмо было фальшивым, Я не хотел, чтоб кто-то мог подумать, что я асоциален или что у меня принципы.

Я не так-то прост. К сожалению, простых людей вообще нет.

Мой редактор, казалось, чувствовал себя не совсем ловко.

– Но я думал, что то письмо было фальшивым. . .

Что я по-настоящему ненавижу, так это ложь, уж слишком это честное дело.

– Я – сложный человек.

Ну, тут я их все-таки сделал. Они обрадовались и успокоились. Сложные чувства – модная штука. Больше они ничего не говорили. Я был в русле новейших течений. На злобе дня. И кроме того, я чистосердечно признался. Это их растро-ого-ого-растрогало. Открытый человек – душу нараспашку. Вот он я, во всей наготе. Берите меня, люди. Человеческие документы раскупаются лучше, чем романы.

– Послушайте, – сказал я. – Это невозможно.

– Что невозможно?

Но это было невозможно. Такая любовь, как у меня, всегда превращается в ненависть. Я никогда не прощу.

– Ну что вы, господин Ажар, у каждого бывают психологические трудности. . .

Я всхлипнул было, но боялся переборщить.

– вспомните, что ваша первая книга сразу была замечена и привлекла пятнадцать тысяч читателей. . .

Неправда. Они прочли мою книгу и, может быть, получили удовольствие, потому что в ней говорится про кого-то другого, и им стало легче. Но я их не привлек. Мысль о том, что книга может привлечь пятнадцать тысяч человек, – ужасна. Даже если это книга, которая рассказывает о том, как похудеть, и то рекомендуется осторожность.

Я не хочу, чтобы кто-то следовал за мной. Клянусь всем, что есть святого, не хочу никого никуда вести.

Это самозащита, только и всего.

А в остальном я говорю тихим голосом, как мышка, – Ажар, это по-угро-фински «мышка», я тихим голосом кричу только об одном, о том, что мне страшно, что будет еще страшнее, что страх в 1976 году такой же, как всегда, только больше, он – единственная абсолютно подлинная вещь, глубокая, универсальная, по-братски разделенная на всех, и в тот момент, когда я пишу эти строки, волосы встают у меня дыбом при мысли о том, что я сижу на стуле, и никто-никто не поручится, что это – стул, а не что-то вроде как бы агента или члена опасного заговора с целью придания окружающему миру спокойного, обычного, привычного вида.

Не верьте мусорной корзине, пепельнице, столу, за их неподвижностью скрывается привычная уловка: пройдет секунда, они подпрыгнут, и все взлетит на воздух.

Не расслабляйтесь. Вас слушают враждебные слова. Все блеф, ничего подлинного нет и не будет, пока мы сами не станем собственными авторами – и собственным произведением. И поверьте: так было, еще когда бряцал лирой Гомер. Из дерьма вроде нас ничего стоящего не выйдет. Может, дерьмо поменять?

Доктор Христиансен в подходящий момент приказал мне заткнуться, но подходящего момента все как-то не случилось.

Новый договор я подписал как и предыдущий: Эмиль Ажар. Я беспокоился: уже второй раз я использовал одно и то же имя, а я ужасно боюсь смерти. Но доктор Христиансен успокоил меня.

Ничего страшного. Судьба не нашла вас под именем Ажар, не найдет и под другим. Судьбе плевать. Судьба все сожрет. Да и вообще, что такое для судьбы все наши имена. . . И псевдонимы. Ваш удав когда глотает мышь, не спрашивает ее имени. Я знаю, конечно, что викинги в минуту смертельной опасности торжественно переименовывали соответствующего человека. . . Судьба охотится за Карлосом, а хватает Педро. Викинги думали, что смерть ошибется и Карлос останется жить.

Я все-таки постарался себя обезопасить. Первый литературный договор за меня подписал один таксист из Рио-де-Жанейро. Так что, если судьбе надо будет кого-то наказать, все отольется не мне, а бразильцу. Хотя Рио-де-Жанейро все-таки довольно далеко от Кагора. Можно и промахнуться, учитывая, во-первых, расстояние, а во-вторых, всех тех подонков, которые там тоже давно должны получить по заслугам.

Итак, первый договор подписал не я, второй, на всякий случай, собирался подписать именем Эмиля Ажара. Я ставил и ставил свою подпись – и не мог остановиться. Меня просто завораживал этот процесс. Я страдал симуляцией, мифоманией, паранойей, а теперь еще и манией величия. Прикрытие лучше некуда.

Доктор Христиансен призывал меня не расслабляться, но я думал, что все сделал очень ловко. Расписался пару сотен раз, так что палас в моей конуре был весь усеян белыми листами с как бы вроде моей подписью, скачущей по страницам, и вдруг меня охватил ужас. Подпись становилась все уверенней, все более похожей на подпись, типовой, идентичной, данной, твердой. Он существовал. . . Некий человек, личность, жизненная ловушка, наличие присутствия, изъян, уродство, травма, которая гнездилась во мне и становилась мной. Эмиль Ажар.

Я воплотился.

Я застыл, схватился, замер, схвачен, зажат. Да что там, я был. От страха у меня обычно все летит вверх тормашками. Сразу кораблекрушение и паника на борту, SOS, и нет спасательных шлюпок.

Он плавал рядом и цеплялся за мой рукав. И я видел, что ему так же страшно быть Ажаром, как мне – Павловичем. А поскольку мы оба боялись смерти, конца этому бздению видно не было.

Он трепыхался, пытался от меня отлепиться. Он так хотел выпутаться, что вокруг мелькало шесть его лап, три совершенно некомплектных крыла с миленькими чешуйками, в которых не было ничего человеческого, и крошечные розовые ужасно материнские соски, потому что все-таки, несмотря ни на что, он немножко мечтал о любви. Он пытался выкарабкаться, стать совсем другим, например крапчатой кувшинкой зоологического царства, но получалось у него не лучше, чем у меня, и как он ни твердил «да-да-да», получалось не смешней, чем у сюрреалистов. Хотя он точно был одним из них, и до упора, если так бывает, со всеми органами и элементами, чтоб больше мучиться. Максимальный шизофреник, генетического порядка, именем отца, и матери, и сына: из тех, что одним боком смердят, а другим пахнут мирром, и с расквашенных в кровь губ вдруг срывались стихи о любви, хотя, по идее, там должна была быть одна зверская агрессивность. Иногда ему удавалось, в сверхъестественном усилии, выкрикнуть правду, поменять рот на анус, но из того места, где в норме должно было быть одно дерьмо, колечками выходили, как у ловких курильщиков, святые нимбы, красота и жертвенность, которыми он тут же ловко прикрывал свои подлые поступки. Из предсмертных

хрипов он творил шедевры, из зловонного дыхания – профессоров-лингвистов, от которых несет чем-то бессмертным, – хорошее слово, если бы им долгое время не вытирали задницу смерти. Единственное, что ему не удавалось у себя поменять, так это органы размножения, потому что вроде как нужно, чтоб все продолжалось, раз настоящего Автора нет.

Не получалось у Ажара прикинуться чайником, овощем, имяреком, водянистым местоимением – и перестать стыдиться себя и собственной лжи.

Кретин несчастный. Чем больше он старался не быть человеком, тем человечней становился.

В эту ночь у меня были новые галлюцинации: я видел реальность, сильнейшее из галлюциногенных средств. Вынести это не было сил. У меня есть в больнице приятель, так ему, счастливчику, мерещатся то змеи, то крысы, то червяки или другие симпатичные штуки. А мне – только реальность. Я встал, зажег надежду, чтобы стало посветлее и не так правдиво. То есть спичку. Никогда не говорите правды. Я не стал зажигать свет, потому что он включается надолго, а спичка гаснет быстро, и сразу зажигаешь другую, и зажигается надежда, и каждый раз становится легче. В коробке спичек – пятьдесят миров, пятьдесят цивилизаций, значит, в пятьдесят раз больше надежды, чем у электрической лампочки. С первой спички галлюцинации исчезли, и я увидел Христа. Рядом с ним стоял Момо, еврейский арапчонок, Мохамед из золотой капли Гут Д’ор, – помните, «Вся жизнь впереди», проповедь расизма и антисемитизма, как писали те, кто неспособен отличить расизм и антисемитизм, потому что это их естественная воздушная среда обитания, а чем дышишь, то не нюхаешь. Мохамед, которого для франкозвучия зовут Момо, стоял рядом с евреем по имени Христос, уполномоченным по любви и спасению человечества нарочно для преследования евреев, потому что христианскую цивилизацию изобрел еврей, и христиане не могут простить этого евреям, потому что это их ко многому обязывает. Доказано же клиническими испытаниями, что христиане ненавидят евреев за то, что те сделали их христианами – с вытекающими отсюда обязанностями, соблюдать которые лень.

Момо стоял рядом с первым избранным евреем, оба смотрели на угасающую надежду, которая, как полагается, должна была обжечь им пальцы, но только на этот раз горела почему-то дольше обычной спички, ведь за нее болели двое, и для морального духа нашей команды так было лучше.

– Как считаешь, обожжет он себе пальцы? – спросил Момо, глядя на спичку.

– Нет, – сказал Христос с сильным русско-еврейским акцентом, хотя в Россию он не заглядывал с тех пор, как там появились психиатрические клиники. – Думаю, нет. Эта спичка не обожжет ему пальцы.

– Думаешь, погаснет раньше?

Еврей подергал себя за рыжую бороденку. Для пушкого антисемитизма у него еще был горбатый нос.

– Ничего. Возьмет другую.

– Да та, которую он сейчас держит, – она-то его обожжет или нет? – спросил Момо.

– Она обожжет ему пальцы, только если погаснет раньше, – сказал Христос – он знал толк в надежде и в цивилизации и, кроме того, всегда держал про запас философию Талмуда.

– И потом, свечка горит, а пламя не растет.

Тут он засмеялся, потому что вспомнил, что евреев всегда обвиняли в ростовщичестве.

– А я думаю, что эта спичка сначала обожжет ему пальцы, а потом погаснет, – сказал Момо с логикой ребенка, который никогда не отстанет. – На что спорим?

– Нет, – сказал Христос твердо, потому что он был слабый человек и, как мог, сопротивлялся. – Я никогда не спорю. Вера не позволяет.

– Проиграть боишься, – сказал Момо, который был мусульманином, а в этом смысле христианином, буддистом и евреем.

– Плевать мне, проиграю или нет, – сказал Христос, с бельвийским акцентом, поскольку посещал Бельвиль из любви к бедности. – Я всегда проигрывал. Я рожден для проигрыша. Люблю проигрывать, всегда проигрываю, и в этом моя сила. Я слабый человек, вот почему я еще держусь. Чем больше я теряю, тем больше они дергаются. Я точку их изнутри, подтачиваю своей слабостью, У них от этого непрохождение совести. Не суй руки куда не надо, Момо,

глупая это привычка, а то потом не знаешь, в чем ты виноват. Конечно, я проиграю – и что? После моей первой крупной неудачи обо мне две тысячи лет все говорят и никак не наговорятся.

Я не сводил глаз со спички. Я дрожал и обливался холодным потом. Реальность – самая страшная из галлюцинаций.

– А на что ты там спорил? – спросил Христос.

– На ножик, – быстро предложил Момо. – Спорю, потухнет до того, как он обожжет себе пальцы. По рукам?

– По глазам и по почкам, – сказал Христос. Он тоже любил хорошую шутку.

Спичка вот-вот должна была обжечь мне пальцы, и тогда снова всякие преступления, загрязнение окружающей среды, Бейрут и прицельное бомбометание. Но Христос посмотрел на спичку, и вдруг она стала в два-три раза длиннее и могла продержаться еще с добрую надежду минут.

– Эй, так не пойдет, – завопил Момо. – Я так не играю, опять ты принялся творить чудеса!

– Хи-хи-хи, – засмеялся Христос, который мог себе иногда позволить, учитывая все гадости, которые серьезные люди делали ему две тысячи лет подряд. – Знай, как спорить со мной.

Он серьезно посмотрел на меня.

– А вы будете знать, как твердо во что-то верить! – сказал он мне и исчез, как каждый раз, когда была надежда.

Это меня немного успокоило, я перестал быть галлюциногенным и видеть реальность, я видел стол, стул, рутину, все было так похоже на что-то такое-этакое, ну, словом, все путем, чего там.

Однако ситуация была по-прежнему нелегкая, потому что если госпожа Ивонн Баби жила в гостинице и только на следующее утро собиралась начать убеждать в моем существовании, то госпожа Симон Галлимар жила вместе с нами в домике, и Анни очень боялась, что она все равно о чем-нибудь догадается. И правда, мне никогда не удавалось как бы вроде что-то изображать по восемь часов в день, по сорок часов в неделю, плюс два часа туда, два часа обратно от работы до дома, – мне просто хотелось выть.

Но пока все как-то обходилось, и тут случилась совершенно неожиданная история с делегацией из Кагора.

У меня не было проблем с муниципалитетом этого города, в нем любят держать на улицах одного-двух психов, чтобы видели: город не чужд культуре.

На следующий день в два часа залаял сенбернар, зазвенел звонок, и Анни пошла открывать. Потом вернулась, вся бледная, потому что было с чего.

– Там делегация кагорского муниципалитета – спрашивают тебя, – сказала она.

– Не может быть, – сказал я.

– Послушай, Поль. . .

Она назвала меня настоящим именем. Это был условный знак. Опознание личности. Сигнал опасности.

– Здесь? В Копенгагене? Да что им от меня надо, черт побери?

– Может, просто оштрафуют? – слабым голосом спросила она. – Помнишь, ты написал прямо на улице Республики?

– Не могли они приехать в Копенгаген только потому, что я у них там писал. Конечно, для Кагора это событие, но все же. . . Ладно, пусть входят,

Они поднялись в дом. Их было трое, и все заместители мэра. У них был потрясенный вид. То ли их так взволновала встреча со мной, то ли что другое. Первый вице-мэр сказал:

– Господин Ажар – позвольте вас так называть. . .

И подмигнул мне. Я тоже на всякий случай подмигнул ему. А зря. Они утвердились в своих догадках.

– Мы хотели попросить вас, если возможно, сделать что-нибудь для города Кагора и для всего Лотского района. Нам нужен культурный комплекс с театром и несколькими кинозалами, концертный зал. . . И еще неплохо было бы, если б вы разместили у нас пару заводов. . .

Я стоял с открытым ртом и настолько ни хрена не понимал, что даже стал чувствовать себя безмятежным и нетревожным, потому что ничего страшнее понимания нет.

– На эту тему стоит подумать, – сказал я. Главное – не возражать, это первое правило психиатрии.

– Лотская область, как вам, вероятно, известно, небогата ресурсами, и размещение заводов с вытекающим созданием рабочих мест. . .

Я теребил себя за ус. Наша беседа начинала казаться мне совершенно нормальной.

– А как же загрязнение окружающей среды, – сказал я. – Я ведь только из этих соображений не размещал заводы в департаменте Лот. Хорошо бы что-нибудь такое электронное, оборонно-стратегическое. . .

Я шел по лезвию бритвы. Я был миллиардером, а миллиардер так от меня далек, что дальше не бывает.

Здорово. Я сбежал от себя.

Я угостил их сигарами, которые Тонтон-Макут потихоньку курил у меня во время своей дезинтоксикации. Жаль, сам он в тот момент был на Майорке. Он все не верил, что из меня

выйдет что-нибудь путное. Вот позеленел бы, если бы узнал, что мне поручена индустриализация департамента Лот.

Возникла пауза. Я размышлял. Ну, стану я благодетелем департамента Лот... Дальше – больше. Премьер-министром. Маловато будет. Президентом республики. Королем Франции стать нельзя, Конституция не позволяет. Пиночета назначу главным по уровню жизни, а Солженицына – по армии и атомной бомбе, для защиты западной цивилизации. В единогласной поддержке меня как коммунистами, так и всеми остальными я не сомневался. Немножко опасался за арабов и Израиль, как у них там будет с их общей программой. Пот лил с меня градом, и я, как Президент республики и Великий Сын французского народа, обязан был проявить безответственность.

– Я не могу решить все проблемы одновременно, – сказал я строго.

– Можно начать с культурного центра, – сказал зам по. – А потом заводы. В таком порядке с точки зрения загрязнения среды будет не так бросаться в глаза.

– Посмотрим... Но вам за это надо будет взяться за ваш поганый госпиталь. Кормят там из рук вон плохо.

– Договорились.

Зам улыбнулся, как приличный человек.

– Разумеется, Ваше величество получит коммиссионные, как и положено нефтяному королю, поскольку вы согласились оказать нам содействие...

Нефтяной король? Ваше величество? Я вроде ничего такого не мог припомнить, но черт его знает. Я что-то промышчал сквозь сигару с самым важным видом.

– Кстати, – сказал зам по, – нам поручено передать вам извинения комиссара Отченаша. Когда он все понял, то испытал сильнейший психологический шок.

– Обычное дело, – сказал я. – Как все поймешь, всегда испытываешь сильнейший психологический шок. Это и есть здравый ум.

– Он не сразу понял ваше законное желание сохранить инкогнито.

– Я настаиваю на том, чтобы моя личность не была обнародована, – сказал я, – иначе моя жизнь станет невыносимой.

– Конечно, конечно. Но вы столкнулись с грубым, неотесанным человеком, переведенным в Кагор из Парижа за нервные срывы. Его послали к нам в Кагор успокоиться. Однако он ценный работник. Вы произвели на него сильное впечатление. После встречи с вами он внимательнейшим образом изучил ваше дело. Он не понимал, почему вы упорно скрываете ваше истинное имя и именуете себя Павловичем.

Я задрожал. Не могу выносить своего настоящего имени. Прямо сразу чувствую себя загнанным в угол.

Осторожность. Я молчал.

– Наша область гордится тем, что принимает такого высокого гостя, – сказал зам по. – Мы благодарны Вашему высочеству за все, что Вы сообразовали сделать для департамента Лот, и обещаем сохранить Ваше инкогнито. Обязуемся заткнуть глотку комиссару Отченашу. Он запросил центральную базу данных и установил, что настоящее ваше имя – Пехлеви. Дело, наверно, было в простой опечатке...

– Это не опечатка, а клевета! Черт возьми, меня зовут не Пехлеви...

– Конечно, конечно...

– Просто они допрашивали меня с тестами и всем таким прочим, и я сказал, что я наполовину еврей. Наполовину Павлович, наполовину еврей. А наполовину югослав, а мог быть чех, но мой отец не еврей, и фамилия его не Леви. Не чех, не Леви, а Павлович и полуеврей.

А не чех. Я не отказываюсь от корней, просто на всякий случай принимаю меры предосторожности. Я им десять раз повторял, что я не чех Леви, у меня и так проблем хватает. С чего они написали Пехлеви – не знаю. Но зовут меня Павлович, хотя, конечно, на самом деле нет.

Тут они успокоились. Мы нашли общий язык.

– Можете рассчитывать на нашу скромность. Но когда комиссар Отченаш понял, что оскорбил родственника Его величества шаха Ирана, инкогнито проживавшего в Каньяк-дю-Коссе, у него был ужасный нервный шок. . .

Я слетел со стула. У меня тоже есть свои достойные чувства! То есть, блин, я хочу сказать, у меня тоже ость чувство достоинства! Черт, я хочу сказать, что у меня достоинство, как у любого дерьма.

– А-а-а-а-а..

Такого вопля человеческой боли в Дании еще не слыхали.

– Я не Пехлеви! У меня с шахом Ирана ничего нет общего! Я не шах Ирана, я с ним рядом не стоял! Может, я и псих, но хоть знаю, что шах Ирана – это не я!

Я убедил их, и они вышли на цыпочках, чтоб не нарушить мое инкогнито. Я еще немного поорал, потому что надо было убедиться, что я не шах Ирана.

Не получилось. Потому что шах Ирана – это тоже я.

Ажар ползал взад и вперед, пытался пройти сквозь стены. Чтоб он меньше мучился, мы с Анни выпили по несколько капель валерианки. Настойка валерианы – успокаивающее, и в восемнадцатом веке, когда еще не было равновесия террора, его прописывали чувствительным душам.

Это невероятные домыслы представителей департамента Лот насчет меня плюс мои уклончивые, вертлявые ответы, отказ открыть свое настоящее имя, которое они явно подозревали, судя по их косым улыбкам, вызвали у меня в следующую ночь пытку осознания. В два часа ночи я вдруг все понял, а это хуже всего. Я схватился за телефон и разбудил доктора Христиансена:

– Доктор, это подло. Теперь я знаю, отчего у меня все эти страхи, недержание мочи, угрызения совести и отказ от наследственности. Я – *еврей*, доктор! Отсюда ненависть к себе и расизм по отношению к себе же. Отсюда цепное напяливание разных личин и выдумывание личностей, не давших миру Христа и, следовательно, не навлекающих преследований и злобы христиан, которые не могут простить, что им навязали Иисуса со всеми его заповедями, моралью, достоинством, великодушием, братством и вытекающим подчинением. Дело не в том, что я онанист, а в том, что я еврей!

– Не морочьте мне голову посреди ночи! – завопил на иврите доктор Христиансен, потому что вздымавшая меня волна страха множила против меня факты из прошлого и непроверяемые доказательства, Израиль бросал на штурм меня отборные войска, и не было на земле ни единого еврея, которому бы не грозила правда и общая участь. – Не морочьте голову, Павлович – это чисто югославская фамилия, я предоставляю вам потрясающую возможность жить в Копенгагене за счет вашего Тонтона, и в благодарность вы будите меня в два часа ночи совершенно разумными соображениями! Я сейчас объявлю вас здоровым и совершенно нормальным, и вы окажетесь в том же дерьме, что и все остальные. Продолжайте дергать себя за что хотите, пока никто не видит, обвинять во всем мастурбацию и переносить на нее все свои беды, – отлично, мастурбация и не такое видала, ее диалектикой не прошибешь. А вот евреев не трогайте: мы, датчане, во главе с королем Христианом при Гитлере всех своих евреев спасли. Не пытайтесь притянуть евреев к своим источникам средств к существованию. Вы справедливо стыдитесь своего происхождения, но все началось еще раньше, чем появился Авраам, и я еще не встречал онаниста, который бы точнее вас нащупал болевые точки времени. Евреи давно пытаются с помощью антисемитов утвердить свою нечеловечность, но ничего у них не выходит. В итоге получился только Израиль, а что может быть человечней и откровенней Израиля, старина, – нации, достойной так называться, нет более убедительного доказательства человечности нации, мой милый, ни на что не похожий удавчик, дорогой мой шарикоподшипник, пепельница, перо, спаржа и прочие дешевые попытки убежать от себя. . .

– Да здравствует Франция! – заорал я, потому что одному стыднее.

– Я скажу вам больше. Вы самый чуждый расизма и самый разумный сукин сын из всех, кого я когда-либо лечил от здравомыслия, и это ставит перед вами два миллиарда мелких проблем. Можете одеваться. Больше вам не удастся быть как бы вроде чем-то: одежда – тоже доказательство.

И он бросил трубку.

Я сказал Анни слабым и безнадежным голосом:

– Он сказал, я нормальный.

– Ну и ладно, ведь быть нормальным – это ненормально. . .

– Но он отказывается мне помогать.

Анни – девушка из департамента Лот, она прочно стоит на земле, и иногда это в ней сказывается, и тогда она вдруг в угоду своим крестьянским корням отказывается умирать и не сдаваться.

– Знаешь, Поль, а может, хватит? Две книги напечатаны, может, на эти деньги, плюс авансы от издателей, в Каньяке можно прожить. В Косее можно жить втроем на полторы

тысячи франков в месяц. Не стоит так дергаться только ради написания третьей книжки. . . Вдобавок из отчаяния ты тоже уже все выжал, – сказала она.

И то правда, подумал я. Может, попробовать писать о надежде? Нет, отказываюсь впадать в банальность. Простовато как-то, несолидно.

Но надежда продолжала мучить меня, на то она и выдумана, и всю ночь я не мог сомкнуть глаз. А назавтра, как нарочно, случился знак.

Это было в «Геральд Трибьюн». Вот, кому надо – могу показать.

Из мюнхенского зоопарка сбежал волк, и нашла его на четвертой странице одна старушка. Когда прибыла полиция, старушка гладила волка по голове, а он лизал ей руку.

Трудно сказать наверняка, но, похоже, волки развиваются в правильном направлении. И старушки тоже. Или, может, старушка была сумасшедшая. С ними вечно что-то случается.

Я не верю в перевороты. Слова связаны круговой порукой, они становятся фразами, и выражение «пригрел на груди змею» вряд ли подразумевает, что змея потом выразит вам благодарность. Любовь – просто слою, которое хорошо звучит.

В тот вечер мы с Алиеттой долго совещались. Я еще не описывал вам Алиетту словами, ведь я хочу, чтоб она осталась со мной, а не запуталась в словах. Я сделаю одно-единственное заявление: у Алиетты такие глаза, как будто бывает первый взгляд.

– Поль, наверно, лучше сдать. Не стоит кричать, никто не услышит. Его нет. Не существует. Он не придет тебя завершать, не выделит тебя из наброска, Автора нет. Давай смиримся с собой, ведь мы тут ни при чем. Ты даже мог бы подыскать работу, не лишнюю будущего, скажем, компостировать билеты на станции отправления.

Медсестра фрекен Норден, отлично помню, сидела в углу и записывала. Они всегда записывают, когда я разговариваю с Алиеттой.

– А есть еще один выход. Найти хорошее начало, только и всего.

– Какое начало? Все мы вышли из конца. Как можно выйти из конца и найти начало, чтоб хорошо кончить? Менять один конец на другой? Я слышал, в Америке вывели искусственный ген, но, может, он пошлет нас к черту и будет разводить абрикосы. Тут трудно поручиться. С чего бы ему так нас благодетельствовать. Будет где-нибудь кого-нибудь рожать, а мыто – здесь. И что тогда?

Еще был магнитофон. Они всегда включают магнитофон, когда я думаю. Они это называют «моим бредом». А по-моему, это шпионаж. Интересно, не Тонтон ли Макут им доплачивает за кражу моих мыслей. Чтоб потом разглагольствовать о том, что именно он спас человечество.

– Значит, надо устроить естественный отбор, Алекс. Как отбирают фрукты. Надо дать шанс чистоте.

– Ты что, кого-нибудь знаешь?

– Можно для начала скрестить две духовно чистые особи.

– Например, кого?

Алиетта бросила на меня торжествующий взгляд:

– Его святейшество Папу Римского и Его святейшество Солженицына.

Я думал. Ажар уползал под коврик, поскольку был глубоко религиозен. Он так дрейфил оттого, что верил – все еще, несмотря на и вопреки, – что коврик побелел от ужаса.

– Слушай, Алиетта, Папу с Солженицыным скрестить невозможно. Ни в уме, ни как иначе. Природа не допустит. Можно имплантировать Папу в Солженицына, или наоборот, чтоб было чисто и кто-то родился, технически это, может, и возможно, но выйдет один умственный вид.

Медсестра стенографировала, чтобы хоть как-то меня сократить.

– Бедный Эмильчик, ты все думаешь, что дважды два – четыре. Вранье. Дважды два – одни слова, вроде дважды как бы два, и по приказу свыше делают вид, что их четверо. Им надо соблюдать приличия, а нам-то зачем. . .

Она уговаривала меня. Настаивала на своем.

Я сказал «нет». Громко и отчетливо. Я не доверял медсестре.

– У Солженицына нет матки, он не может забеременеть от Папы, и наоборот, это *безумие*. Я покосился на медсестру: хотелось произвести на нее впечатление.

– Плюс к тому у Солженицына с Папой разная вера. Даже если случится чудо, они переругаются из-за выведенной ими религии.

– Но что же делать, Поль? Так дальше не пойдет, уж слишком было хорошо. Тонтону надоест платить за клинику, Христиансен откажется помогать. Сколько можно подбирать тебе диагноз, условия существования психов из-за инфляции становятся все тяжелее.

– Положись на меня, Алиетта. Все у нас получится. Я свалю отсюда по-настоящему, увезу тебя далеко, никому не удастся взять нас в руки, мы будем безнадежны. . .

Магнитофон записывал, тихо жужжали фараоны, мигал электронный глазок медсестры. Госпожа Ивонн Баби ждала в отеле, и посреди ночи я самолетнул в Париж, где раньше трудоустроил Элоизу в один бордель района Гут Дор, – чтобы не быть расистом, к африканцам. Я хотел узнать, что она там без меня подельывает. Меня встретила Мадам Дора, дипломированный специалист, и сообщила, что Элоиза поживает прекрасно, принимает, вместе с двумя другими международницами, по сорок клиентов в день, да только подцепила болезнь и полицию, потому что в парижских газетах расплодилось лобковая вошь. И действительно, Элоиза была в полной форме, рассказывала про разведывательные спутники, которые летают повсюду и записывают мысли для ЦРУ и КГБ, – и тут вдруг она ойкнула, и что я вижу? Из ее органов выползает фараон! Он там выписывал штраф. Другая девица, Нора, тоже все время чесалась и скреблась, потому что ей во все волосинки вцепились фараоны» стараясь быть на месте преступления. Другие фараоны ползали по стенкам, а как провести дезинфекцию, лечат-то всегда девиц, а не полицейских! Одной девице, Лоле, даже сломали два ребра в кутузке, вот что значит Год женщины. А еще один фараон, огромный, гигантский, по долгу службы сел на диван, снял башмак и стал запихивать в него штрафы, как вдруг раздался писк, опора правопорядка взглянула в свой башмак – и что же он там увидел? Другого полицейского, помельче, тот спикировал с потолка и хотел стянуть денежку, и тут его чуть не раздавили. Старший подобрал его, пожурил для формы, положил в карман, и они ушли, обозвав меня параноиком, потому что так не бывает.

Доктор Христиансен сказал, что у меня новый приступ действительности и страхи при этом – обычное дело. Он посоветовал отложить встречу с госпожой Ивонн Баби.

Тонтон-Макут разрешил пожить еще в Копенгагене сколько нужно, хотя это ему стоило денег. Я знал, что он делает это не для меня, а в память о моей матери, значит, я ему не должен ничего.

Может, вы заметили, у меня проблемы с хронологией: я возвращаюсь в прошлое до самых катарских младенцев, разбитых о стены Альби, до всяких невинно убиенных, которых куда только не засовывали, хотя ничего оригинального про них уже не скажешь.

Электрошок как метод лечения от реальности в Дании тогда уже не применялся, и мне просто назначили сильные дозы нейролептиков.

Я боялся доbermanов в парке, они опасны даже в виде собак.

Мир ждал, задерживал дыхание, и его слышал я один, и, значит, сам я дышал легче, и от мадам Ивонн Баби не было никаких вестей.

Раз в день мне разрешали на час покинуть клинику, и я слетал в Барселону записаться в интернациональные бригады, но там меня ждало ужасное потрясение: неконтролируемые элементы выкопали мумии монахинь на монастырском кладбище и возили их на карнавальных повозках для разоблачения атеизма. Я был настолько не готов к подобному приему, что разорался и прибежал назад в клинику.

Меня по-прежнему мучили гуманитарные мысли, надежда на рождение и ужас от конца.

Каждое утро я слал в США ученому, открывшему гарантированно лишенный наследственности искусственный ген, профессору Уоллу, неотправленную телеграмму и спрашивал, как поживает его подопечный.

Доктор Христиансен опять посадил меня на галоперидол, и тогда галлюцинации, хотя и не исчезли полностью, приняли менее тягостную для всех форму.

Меня отпустили на концерт квартета Мерк. Сначала все шло хорошо, но ближе к середине я заметил, что виолончель растет на глазах, и вдруг она треснула, и оттуда появился выводок мандолинок, а, Бог знает почему, не виолончелек, как полагалось бы по логике вещей, и все они кричали: «Папа, помоги, не хочу рождаться, на помощь!» – и тут налетел рой фараонов с дубинками, заметался по залу, сгрудился вокруг меня, и я заорал, потому что совесть моя была нечиста: я припарковал машину под знаком «стоянка запрещена».

Вот такое было мое состояние, когда Тонтон-Макут объявился в Копенгагене. Ему сообщили, что у меня ухудшение, и он специально приехал меня повидать. У него было более старое и отсутствующее лицо, чем в прошлый раз. Он еще более походил на себя. Он сел рядом со мной, с сигарой в зубах, даже не сняв шляпу и пальто, он иногда сидит так даже дома, – может быть, чтобы успокоиться, убедить себя, что он дома только проездом.

– Ну, как дела, не очень?

– Извини, что стою тебе много денег.

– Не имеет значения.

Казалось, он говорит искренне. Ведь его родители – актеры.

– Говорят, ты закончил новую книгу.

– Ну.

– Ты очень талантливый человек.

– Наверно, это наследственное.

Он сосал сигару.

– У тебя великолепная критика.

– Не у меня, а у книги. Можно быть полной сволочью и писать отличные книги.

Он не вздрогнул. Невозмутимый, далекий человек, ставший собой так давно, что это его уже не пугало: Он устроился.

– . . . иногда у меня идет кровь, но это оттого, что я, когда пишу, часто царапаюсь.

– Честно говоря, когда я тебя читал, у меня часто сжималось сердце. . .

– Еще бы, все-таки книга про удава.

– Я говорю о новой.

– Думаешь, они меня. . . найдут?

– Ну и что? Не вижу, чего ты стыдишься. Сейчас же не средневековье. Мы с тобой одной крови, ты и я.

На секунду во мне возникла надежда. Но он не признается. Хватит ему ответственности.

– То есть?

– Общие предки со стороны матери. И потом посмотри на меня.

– Чего на тебя смотреть. У тебя теперь голова как в телевизоре.

Он засмеялся:

– Видишь, я же говорил тебе, что у тебя ясный и твердый ум. . .

Не знаю, за что я его все время наказывал. Может быть, потому, что под рукой всегда оказывается как бы вроде кто-то. А настоящий виновник демонстрирует свое отсутствие. И тогда мы хватаем того, что поближе.

– А теперь, Тонтон, скажи: «После всего, что я для тебя сделал. . .»

– Я ничего для тебя не сделал. Если что и делал, то ради твоей матери. . .

Я сжал кулаки. Ходит вокруг да около, подлец. Осторожничает, держит дистанцию, все время вне любви.

В конце концов, сейчас время посредников. Думаю, я гораздо меньше нуждался бы в нем, если бы верил в Бога. Было бы на кого все сваливать.

Уверен, что они спали вместе.

– Ты мне ничем не обязан.

Он встал. Синее пальто, серая шляпа.

– Я ничего и никогда для тебя не делал, – повторил он с иронией, как всегда, и неизменно двусмысленно.

Это было неправдой. Учеба в Гарварде, дом в Ло, изредка деньги... Чтобы не помогать мне слишком, чтобы я сделал себя сам.

Однажды в Париже он зашел ко мне. Мне уже было двадцать семь, и я издавал вопли протеста. Во всем виновато было общество. Я сам себя не изводил, меня преследовало общество. Так получалось, что это у меня уже не генетика, не атавизмы и не психология, я переходил в социологию. Но поскольку я даже классового врага не обижу, то толку от меня было мало. Я только вопил.

Тонтон-Макут тем временем съездил в Амстердам и привез оттуда пособие «Как сделать бомбу из подручных средств в домашних условиях» или что-то вроде того. И он поднялся ко мне – к себе – на седьмой этаж. Как только мы с Анни, в двадцать лет, поженились и переехали в Париж, он нам подарил две комнаты для прислуги.

Он кинул книжку мне на кровать:

– Вот, возьми пособие. Делай бомбы. Бросай. Убивай. Разрушай. Надо взорвать все, так ты докажешь, что действительно веришь. Только делай что-нибудь. Ради Бога, хватит жестов!

Я слышал, как сенбернары лают в парке больницы.

Вошел санитар и вколол мне пятичасовую крысу.

Тонтон-Макут взялся за дверную ручку. Он приходил поделиться со мной человеческим теплом, – что ж, дело сделано.

– погоди. Можно тебя кое о чем попросить?

– О чем?

– О знаке любви.

Он еще никогда не слышал от меня таких слов. Он казался обеспокоенным. Значит, я действительно был болен.

– Поль, ты же знаешь, я тебя очень люблю. Но знаки, знаешь ли...

– Знак любви – это всегда больше чем знак.

Однажды он сказал мне: «По линии твоей матери мы происходим из семьи выдающихся русских истериков». Но мне было все равно. Я знал, что он относится ко мне со скрытой нежностью. Иначе и быть не могло.

– Я хотел бы, чтобы ты переписал своей рукой начало моей «Жизни». Начало, генезис. Зарождение. Сотворение книги.

Он ответил очень спокойно, как будто идея была не так уж и безумна:

– Малыш, я не могу этого сделать.

– Ты по-прежнему все отрицаешь?

Он пожал плечами, не вынимая рук из карманов:

– Мне нечего отрицать. Но у меня есть сын, и это не ты.

– Только первую главу. Начало того, что я есть, того, что со мной стало.

– Не может быть и речи. Что за мрак.

В три часа ночи я был в реанимации. Я проглотил упаковку тетромазина.

Он переписал все начало в черную тетрадь. Но он сделал это по просьбе доктора Христиансена, «учитывая его состояние» и «чтобы он не чувствовал себя отвергнутым». Это уже ничего не значило. Вышел не знак любви, а часть психиатрического лечения.

В город меня больше не выпускали. Но по утрам я гулял в парке, сенбернар лизал мне руку, доберманов я больше не боялся: как их ни называй, все равно они только собаки. После обеда я иногда записывался в Иностраннный легион, пытался закоренеть. В Турции случилось землетрясение, и я плакал от радости, потому что это было природное бедствие и я тут был ни при чем.

Был один страшный момент, когда аргентинская полиция нагрянула, чтобы отрезать мне правую ладонь – установить мою личность раз и навсегда с помощью отпечатков пальцев. Было столько убитых во время уличных боев, что тела оставляли и отрезали только ладони, а потом везли их сверять с центральной картотекой.

Должно быть, они давно подозревали, что все началось с меня. Но доктор Христиансен не пустил их, потому что психбольницы – это храмы и на них распространяется неприкосновенность. Потом были издевательства и оскорбления моей памяти. Чилийская политическая полиция назвала себя ДИНА. Дина – имя моей матери. Конечно, это совпадение, я не утверждаю наверняка, что полиция Пиночета выбрала это имя с единственной целью мучить меня. Я просто привожу здесь реально существующий факт, тысячу раз упоминавшийся в газетах, но дело в том, что имя моей матери явно пытаются примешать к зверствам и мерзостям, которые я выносить не могу. Я переносу их только благодаря химическим средствам первой необходимости, но они помогают мне и совершенно не действуют на Чили.

Мне звонили высокопоставленные друзья, пытались собрать конференцию в верхах, чтобы меня оставили в покое. Но не хватило верхов.

Иногда пряталась Алиетта, растворялась под влиянием ЦРУ и КГБ. ЦРУ и КГБ были повсюду, и я слышал постоянное гудение полицейских.

Я не обманываю себя. Я знаю, что окружаю себя отборными, лучшими кадрами, чтобы не пойти на дно. Потому что самый жуткий страх имени не имеет, огромная величина никогда не высвобождается в осязаемый ужас. Сердце перепрыгивает этапы, бежит навстречу худшему, чтобы со всем покончить разом. Но неизвестное пятится и не дается в руки, и страх при его преследовании растет. Опасность отказывается обнаружить себя и выйти из небытия, подчеркнутого общинческой неподвижностью каждого предмета. И тогда мне надо любой ценой обосновать свой безымянный страх: вот уже у него харя Пиночета, голова убийцы и смердящее, растерзанное тело. *Мне нужно, чтобы пытали людей.* Чтоб отрезали ладони, чтоб КГБ и ЦРУ и черные развалины слетались мне на помощь и чтобы отборные кадры подтверждали мой ужас. И тогда он перестанет быть безымянным, обретет имя собственное. Это хитрость гиены, которая питается привычной мерзостью, чтобы меньше бояться. Наконец-то мой страх закономерен, я – часть этого мира. Вот уже я лучше в нем ориентируюсь и спрашиваю себя: может, мы разрабатываем собственные системы мерзостей, чтобы стать повелителями ужаса? Освободиться от страха. Создать государства неслыханного, полностью рукотворного полицейского террора. Так нам легче, мы будем знать закономерность, повод, ритуал, регламент гадостей и травли, код дегуманизации и преследований, определенные места для пыток в человеческом теле и разуме, так мы избежим неустанно и скрытно надвигающегося мрака» а он все ближе, но на поверхности не виден, и я хочу, чтоб он наконец явился, чтоб все кончилось и наступил праздник или все стало ясно. Я дергаюсь, ору, зову на помощь кадавров – добрых самаритян и преступления Скорой помощи. Они гонят неведомое прочь, у них есть человеческое имя, и за их осязаемостью я забываю то, чего нет и что готово напасть на меня оттуда, оттуда и оттуда.

Я хотел бы украсить стены портретами великих мучителей, чтобы источники ужаса, кото-

рые можно кому-нибудь приписать, всегда были перед глазами.

Над кроватью я повесил икону, для конкретности.

Он склоняется надо мной и трогает мой мокрый от пота лоб.

– Почему бы это не записать? – шепчет он. – Жаль доводить себя до такого состояния, Ажар, и не написать хоть несколько страниц. . .

Но его нет. Это только фотография, которую я держу на тумбочке, чтобы злиться. За окном воркуют и целуются сиреневые бандиты и кровопийцы.

Я часто видел Анни рядом с собой, но я знал, что это повседневность на инвалидном кресле догоняет меня и хочет прибрать к рукам. Обычный мир цеплялся ко мне, подступал к глазам, к горлу, к органу чувств, впихивал в меня по сто пятьдесят граммов галоперидола в день, чтобы отрезать путь к бегству. Его не останавливали жертвы, он бросал бомбы, сидя на куче трупов, с сигаретой в зубах и автоматом под мышкой. Фамилия его была Калашников, и он патронов не жалел. Он не исключал возможности бактериологической войны и разрушения защитного озонового слоя, чтобы облегчить доступ к Отцу с целью взаимного уничтожения.

Однако, хотя я и был тайно заражен, как Плющ, по диагностике советских психиатров – врагов СССР, «реформаторскими и мессианскими тенденциями», меня не подвергли лечению инсулином, с транквилизующей комой.

Доктор Христиансен рекомендовал писать по девять-десять часов в день, чтобы уменьшить дозы реальности путем выдавливания ее наружу. Он говорил, что литература для меня так же полезна, как дефекация. Я послушал его, и мало-помалу он снял все остальные лекарства.

Я помогал, поскольку у всех добровольных эмигрантов всегда есть скрытая надежда вернуться, и это прискорбно известный факт, что даже самые решительные шизофреники часто соглашаются вернуться.

Я писал. Я пишу. Я на 77-й странице рукописи. Конечно, я хитрю. Я не говорю ни о . . . ни о . . . и, уж конечно, ни о . . . потому что это был бы четкий, понятный язык, который множит и заделывает дыры и пожарные выходы, ставит на отсутствующие окна решетки и называет их твердыми фактами.

Взять, например, краполет. Это капитальный элемент трансплантации, а также Сакко и Ванцетти, и ничего он не значит. Значит, есть надежда. Есть отсутствие привычного рутинного смысла и, значит, надежда на что-то.

Я закончу свою книгу, потому что пропуски между словами дают мне шанс.

Я чувствовал себя немного лучше. Я узнал, что спецкор от мира сего не приезжал в Копенгаген, что все это мои страхи и разные фантазмы, и написал госпоже Ивонн Баби письмо, в котором просил прощения за то, что побеспокоил ее по пустякам.

Иногда меня все еще беспокоили государственные деятели. Тогда я навещал одного знаменитого соотечественника, приезжавшего к доктору Христиансену пару раз в год на лечение. Бывший министр, обломок прошлого и, значит, человек с большим будущим. Его мучили периодические приступы страха, которые доктор Христиансен называл его месячными: и тогда он гнил и рассыхался, как только вокруг него начиналось какое-нибудь движение. Ему казалось, что все заминировано, все пустое, все сгнило изнутри и при малейшем дуновении разлетится пылью и прекратит существование. Состояние ухудшилось после Португалии, потому что он ничего не понял в том, что произошло. Он отказывался принимать ванны, потому что пыль при контакте с водой превращается в грязь. Вокруг него надо было ходить на цыпочках, затаив дыхание, чтобы он не рухнул и не превратился в кучку пыли. Если послушать его во время приступов, то следовало выставить вокруг него армию и полицию, чтобы избавить его от всяких посягательств. Медсестра должна была заворачивать его в полосочки ткани, как мумию, чтобы ему было спокойней, чтобы он убедился, что не превратится в песок, помочь ему почувствовать свою плотность. Но приступы никогда долго не длились, потому что опросы общественного мнения убеждали его в том, что он фигура реальная и внушает веру. Тогда он верил, что действительно и прочно существует. Его зовут господин Депюсси, у него красивое лицо – избирательное и широковещательное, а на телеэкране, да при хорошем освещении, и вовсе совсем как живое. Какое-то время он еще продержится, и это все, что от него нужно.

Каждый раз, когда я его вижу, мне хочется чихнуть, чтобы напугать его. Но если я чихну, тут же на его место поставят такого же, зато я буду раскрыт и под подозрением по поводу реформаторских и мессианских тенденций, как Плющ.

Знаете ли вы, что в Осло Норвежская академия ищет безрукого и безногого глухонемого, который не привнес бы никакого вклада в историю нашего времени, чтобы вручить ему Премию мира?

Господин Депюсси принимал нас – я часто говорю о себе во множественном числе – в полной неподвижности, кстати, полной музеев и шедевров. Вокруг меня была куча других предметов, но я был очень спокоен и не чувствовал страха. Я не говорю, что все предметы – скрытые тигры, которые вот-вот на меня набросятся. Я так не говорю, потому что избрал скромность и осторожность. Мне хочется вернуться в Лот, подальше от мира. Там я лучше себя чувствую больным, чем здесь.

– А, господин Ажар, кажется, вы собираетесь дать нам новую книгу?

Дать *нам*, вы представляете себе? Я сочная груша и живу только для их услаждения.

– Вы здесь не со вчерашнего дня, господин Ажар. . .

– Да, я пишу. И еще наблюдаю. Я прохожу курс лечения, если угодно, но поскольку я веду себя нормально и хожу на свободе, то это бросается в глаза. Я живу с психами, чтобы научиться соответствовать. Так, по крайней мере в Париже, мне вернут водительские права.

Я поработал еще над мадам Розой, потому что мне не хотелось с ней расставаться, после «Всей жизни впереди» она стала для меня вроде матери со своим склерозом. Я, значит, вскарабкался на шесть этажей вверх без лифта, чтобы побыть с ней по месту ее проживания, и дышал еще тяжело.

Я громко дышал.

– Осторожно! – завопил господин Депюсси. – Задерживайте дыхание, ей-Богу! Вы же на

меня дуете! Я разлечусь в пух!

– Я не обязан соблюдать вашу конституцию и ваше устройство, – сказал я, – и отказываюсь задерживать дыхание, чтобы продлить существующий порядок вещей. Мы, левые, нам стоит только дунуть, и мы все разнесем, каждый знает.

Алиетта положила мне мягкую руку на плечо:

– Не говори так, Алекс, ты себя напугаешь.

Господин Депюсси выглядел потрясенным.

– Вы левый? – спросил он меня почтительно, поскольку был правым и поэтому нуждался в моих услугах.

– Я не политик, – сказал я, – поскольку я не царствую.

Но я и не человеконенавистник. Среди шизофреников мизантропов нет. И никогда не было. Они получают такими от любви.

Я неспособен на ненависть, потому что овощи вроде меня никого не ненавидят.

Я настолько дергался из-за своих гуманитарных мыслей, что господин Депюсси начал пылить и дымиться. Я ясно это видел, что доказывает, что он был еще безумней, чем я думал.

– Извините, – сказал я, потому что больным не стоит возражать.

Я добавил, чтобы сменить тему разговора:

– Кажется, Объединенные Нации скоро объявят год дерьма, конечно исключая евреев.

У него на лице появилось выражение: «Понял. Ага».

– Вы нигилист? – спросил он.

Я не возражал. Это было совершенно неверно, естественно, полная туфта, и, значит, здорово меня прикрывало.

– Извините, у вас на рукаве холокост, – сказал я, подняв руку и сделав соответствующее лицо.

– Только не трите меня! – захныкал он, и приступ у него, наверно, достиг своей высшей точки, потому что от него снова пошло облако параноидальной пыли. – Не прикасайтесь к ним, преступление вы этакое!

– Ничего страшного, мы еще даже не начали играть, – бросил я ему с последней грубостью, потому что было чудесно сознавать, что кому-то еще страшнее, чем мне, это очень успокаивало.

– На помощь! – прошептал он, потому что он знал, что если кричать, то будет все то же самое.

– Смерть легавым, – предложил я, чтобы возложить всю ответственность на собак и самому остаться чистеньким.

– Я никогда не был в Уганде, – твердо заявил он, и он говорил правду, потому что зачем ему было туда ездить, повсюду одно и то же.

– Они подадут вам это на завтрак, – пообещал я ему, потому что раз уж так обстоят у нас дела, то разницы между концом света и настоящим ромашки не видно.

И тогда я заметил, что происходило в углу комнаты, немного в стороне от нас. Нини пыталась хапнуть Ажара. Нини, как явствует из ее имени, терпеть не может наличия литературных произведений, в которые бы она не пролезла. Если есть надежда, она просто заболевает. Нини пытается с незапамятных времен, и чем дальше, тем больше, заграбастать каждого автора, каждого творца, чтобы отметить его творчество ничем, поражением, отчаянием. У воспитанных людей ее зовут нигилетка, от чешского слова Нихиль, нигилизм, но мы зовем ее Нини, с большой буквы, потому что она терпеть не может, когда приуменьшают ее роль. В этот момент на ковре она пыталась оплодотворить себя Ажаром, чтобы впоследствии нарожать ему деток из ничего.

Ажар защищался как лев. Но с Нини всегда есть соблазн не сопротивляться, дойти наконец до дна ни-ничего, где находится мир без души и совести. Единственный шанс выпутаться для Ажара был в том, чтобы хорошенько доказать свое небытие, свое состояние как бы вроде пустышки, полное отсутствие человеческого подобия, достойного подцепить такую заразу, как Нини, поскольку ничто по техническим причинам никогда не трахается с ничем. Или, наоборот, открыть на поле битвы что-нибудь настоящее, откровенное, и при этом прикрыть свое сокровенное, я хочу сказать, как рыцарь Байярд Далабри с поднятым забралом, а против него Нини с открытым передком, – поднять забрало и отречься от всякой пустоты и звона, в которых гнездится Нини и откладывает яйца, для того чтобы они лопались и заливали все своей гнилью. Я держал руку Анни в своей, как в самых старых любовных штампах, которых никаким пятновыводителем не выведешь. Я думал о людях, которые любят друг друга, и Нини корчилась на полу в ужасных судорогах и никак не могла найти пустоту в гулкой темной цистерне, звенящей смертью в вечно будущей жизни.

Я снова выкарабкался, и не в последний раз. Между жизнью и смертью идет борьба литературных приемов.

Я злился, потому что Тонтон-Макут перестал меня навещать, звонить и донимал меня из Парижа полным равнодушием. Я советовался с Анни, но эта дочь Лота была непоколебима, как соляной столп,

– Он занят.

– Я знаю, что занят, с ног до головы захвачен собой. Он что, не помнит, что такое Соппротивление? Пора вспомнить. От него ни слова, ни звука. Я ведь могу и подохнуть.

– Он очень тебя любит.

– Любит, как же. Не понимаю, что я ему сделал.

– Он тебя ни в чем не упрекает.

– Да, ему плевать.

– Как только ты его видишь, ты говоришь ему черт знает что.

– Я пытаюсь говорить шиворот-навыворот, может, так получится сказать что-то вроде правды.

– Он прекрасно понимает, он всегда говорил тебе, что надо писать, заниматься творчеством. . .

Я повторял, око за око, книга за книгу:

– Я говорю шиворот-навыворот, это попытка сказать подлинное слово. . .

– Да, но поскольку он шиворот-навыворот не говорит и даже считает, что все одно, что в лоб, что по лбу, вам надо попытаться найти общий язык. Ты говоришь шиворот-навыворот, он – прямо, я, право, не вижу, в чем разница, что вас разделяет и что вам мешает понять друг друга. . .

– Я не прошу его понять меня, совершенно не прошу. И никого не прошу. Еще чего не хватало. Зачем ты мне говоришь такие гадости?

– Но что тогда тебе от него нужно?

– Ничего не нужно.

– Врешь, но слабо – не убеждает. – Она улыбнулась. – Смешные вы оба. Ну просто отец и сын.

Тут я взорвался:

– Твою мать, я запрещаю тебе нести такой бред!

– Ты не имеешь права запрещать мне нести бред. Сейчас Международный год женщины. У нас такие же права, как у вас.

– Был бы он и вправду моим отцом, он был бы просто подонок, нет ему прощения, так с человеком поступить нельзя.

– О чем ты? Что он тебе сделал?

– Ничего. Я знаю. Не зачинал, не усыновлял, когда мне было двенадцать лет. Ему не в чем себя упрекнуть. Но он слишком часто дает мне это почувствовать. Он безупречен. А безупречных людей не бывает. В глубине души он дерьмо. Безупречные люди – это просто те, кто не знает себя до конца.

– Не думаю, что он себя не знает. Он всегда немного грустен или ироничен.

– Ироничен? В тысяча девятьсот семьдесят пятом году? Каким же надо быть скотом. . .

– Сейчас семьдесят шестой.

– Все одно и то же. Мы топчемся на месте.

– Не заводись, Поль. Котик умер. Его не воскресить. Ни тебе, ни ему, ни кому другому.

Я молчал. Она права. Котята умирают, потому что вырастают.

А еще доктор Христиансен открыл мне одну неожиданную вещь. Я узнал, почему Тонтон-Макут проходил курс дезинтоксикации в копенгагенской клинике.

Не из-за сигар.

Он хотел бросить писать.

Я был потрясен. Со мной случилось самое маленькое удивление в жизни. Я ошибался. Он не был витринным продажным литсексапильным донжуаном. Он боролся, он хотел быть настоящим. Он стремился, как я. Искал конца утопии. Но я не спешил сдаваться. Я сказал Анни:

– Он не курит травку, не колетса, не пьет. . . Он ни за что не хочет чувствовать себя другим, посторонним себе. . . Это самовлюбленность. Алкоголь и наркотики, видишь ли, сделали бы его иным, кем-то другим, а этого он ни за что не хочет. . . Он обожает себя и не выносит разлуки с собой.

– Я никогда ничего не понимала в ваших отношениях. Прямо инцест какой-то.

У меня по-прежнему бывали довольно жуткие страхи. Доктор Христиансен считал, что это не страх, а состояние тревоги, но я думаю, что он мне просто зубы заговаривал. В такие минуты Алиетта вставала и начинала гладить стул, стол, стены, чтобы я успокоился и увидел, что они добренькие и совсем ручные, не набросятся на меня и не разорвут в клочья.

Больше всего я боюсь стульев, потому что их форма – намек на человеческое присутствие.

А назавтра вдруг сбылась во всем своем ужасе моя самая дорогая навязчивая идея, за которую я по слабоумию ответственности не несу.

Позвонил парижский издатель:

– Ажар, у меня хорошая новость. Спецкор от мира сего, госпожа Ивонн Баби, совершит спецприезд в Копенгаген, чтобы взять у вас интервью.

До меня не сразу дошло.

– В Копенгаген? А что, я не в Бразилии? Я сам читал в газетах.

– Послушайте, Ажар, Бразилия далеко, и ехать туда дорого. Зачем отправлять туда Ивонн Баби, если ни вас, ни ее в Бразилии нет?

Я завопил изо всех сил, потому что в беллетристике обязательно нужно поддерживать главного героя и не допускать накладок:

– Ни за что! Вы с ума сошли? Она явится в псих-больницу брать у меня интервью? Вы что, не понимаете?

– Послушайте, дорогой Эмиль, хватит ваньку валять. Ваши проблемы – не психика, как вы утверждаете, а *политика*.

– Политика? У меня?

– Да будет вам. Вы не психиатрический казус, а политический, на вас есть дело в уголовной картотеке. И в нем все рассказано. *В четыре года вы убили котенка*.

Я чуть не упал в обморок. Они *знали*.

Значит, Освенцим, массовые убийства, нищета, ужасы, Пиночет и Плющ ни при чем: во всем виноват котенок!

Психоаналитики тоже иногда бывают порядочные свиньи.

– Я не хочу ее видеть!

– Прекрасно, но я обязан сказать вам то, о чем говорит весь Париж.

– О чем?

– О том, что книгу за вас написал или помог вам написать кто-то другой.

Это был жуткий удар по органу чувств. Я был убит, правда убит, разбит вдребезги, но собрал себя по частям и от возмущения и ужаса жутко завопил.

– Не я написал? Не я? Не я? А кто же?

– Арагон. Кено. Некоторые полагают, что вас вообще не существует.

Я поперхнулся. Моему авторскому самолюбию был нанесен такой удар, что я удавил бы сто котят и глазом не моргнул – лишь бы оправдаться.

– Ладно, пусть журналистка приезжает. Готов, если надо, встретить ее в аэропорту с цветами.

– Только не переборщите. Вы должны соответствовать своей репутации, Ажар.

– Какой репутации?

– Своей.

Не знаю, почему я вдруг подумал о Тонтон-Макуте с настоящим отчаянием. На Гаити бывают такие всемогущие колдуны. Известное дело. Они враз сделают так, что ты загниваешь прямо на корню.

– У вас уже есть легенда, Ажар.

– Какая легенда?

– Некая тайна, что-то не вполне законное, то ли вы террорист, то ли бабник, подонок, сутенер. Вы легендарная личность, и к этому надо относиться бережно. Ото то, что называется редакционные слухи, – лучшая из реклам. За деньги такое не купишь, зато книги с ее помощью продаются действительно здорово.

Я услышал свой голос откуда-то издали, и, может, действительно говорил кто-то другой:
– На Гаити, в стране тонтон-макутов, есть могущественные колдуны, и они могут сделать на расстоянии с человеком что угодно с помощью черных колдовских приемов. – типа булавки, воткнутой в орган чувств на снимке, ведь на снимке человек совершенно беззащитен.

И тогда издали, с Гаити, мой голос спросил:

– А как расходится книга? Сколько экземпляров продано?

– Тридцать тысяч, – сказала редактор, и я почувствовал некоторое разочарование, потому что все-таки как же так.

А ночью я был в Тунисе цветущим апельсиновым деревом. Я всегда хотел быть апельсином и цвести, но так, чтоб вовремя остановиться, не давать плодов, у меня такие принципы.

Я защищался как мог. Мой любимый автор – Ханс Христиан Андерсен.

Но я знал, что одному мне не отбиться, и нанял адвоката, потому что со дня на день ожидал чего-нибудь такого, хотя, учитывая изобилие обвинений, которые можно выдвинуть, невозможно точно знать, чего ожидать. Я нанял адвоката Фернана Босса. Я доверял ему, потому что я никогда с ним не встречался. Но с адвокатом Босса нам пришлось расстаться: он утверждал, что меня ни в чем не обвиняют. Это одна из самых цельных личностей, которых я знал, и такой раздолбай, как я, не должен был бы трогать его даже пинцетом.

Я взял другого адвоката, потом третьего, но все отказывались. Никто не хотел меня защищать. Одни думали, что меня не существует, и боялись остаться без гонорара, другие знали, что я есть, но советовали обращаться не к адвокатам, а к психиатрам. У них, дескать, мои рассказы про котят уже в печенках сидят.

Один даже сказал, что плохо мое дело, потому что я наследил на все общество.

Госпожа Ивонн Баби должна была приехать на следующее утро. Я лежал в темноте и не знал, какому Фрейду молиться. Меня зажали, запротоколировали, обналичили; всюду лязгали шпаги, на которые меня полагалось нанизать. Реальность бродила неподалеку, и смертность маячила вдали. В какой-то момент в попытке избежать смерти я заказал себе двадцать фальшивых паспортов.

Я не хотел становиться известным. Я хотел, чтобы в неизвестном уголке неизвестной деревни у меня была безвестная жизнь с безвестной женщиной, неведомая любовь, еще не известная мне семья и неизвестные человеческие существа вокруг, которые, возможно, смогут построить совсем пока еще неизвестный мир.

Пишу и боюсь. Я боюсь господина министра внутренних дел. Все наши внутренние дела рано или поздно становятся достоянием министров.

В восемь утра из Парижа позвонил мой новый адвокат:

– Ваш: издатель сказал, что вы собираетесь дать интервью миру.

– Да.

– Я полагал, вы хотите остаться неизвестным.

– Я тоже.

Он строго сказал:

– Ажар, вы двуличный человек.

– Я не двуличный. Я наследственный, то есть мои авторы хватают меня и тащат во все стороны. Гены, ничего не попишешь. Вы что, газет не читаете, я же коллективное произведение.

– Вы хотите стать известным или нет?

– Нет, – завопил я. – Совершенно не хочу! Но иначе все будут по-прежнему говорить, что мои книги написал кто-то другой! А я этого не выношу.

– Вам придется объясняться с полицией! Не забывайте, Франция и Дания связаны договором о взаимной выдаче преступников!

Я похолодел. Не помню, что я ему о себе рассказывал, может даже правду.

Я просто побелел от страха. Как я ни врал, как ни симулировал симуляцию, а виноват все же я. Всегда я. В этом нет ни малейшего сомнения. Доказательства существуют. Вот они, отпечатки пальцев. Они уже тысячу лет как здесь.

– Послушайте, господин адвокат, мне было четыре года, когда я убил этого котенка. Тридцать лет назад. Не может быть, чтобы это все еще фигурировало в моем деле. Ведь есть же давность срока преступления? Ей-Богу, я даже почти не занимаюсь онанизмом.

– Ищите другого адвоката, Ажар. Я от вас отказываюсь. То вы мне говорите, что подложили бомбу в аптеке, то вы тридцать два раза грабили стариков, то ваше настоящее имя Гамиль Раджа, то вы проводите аборт от неизвестного Отца, то вы сутенер, то вы из параллельной полиции, то вы еще и Бен Барка, то вы работаете на ЦРУ и КГБ, – словом, пошли вы с вашим котиком. Атомную бомбу, часом, не вы бросали?

– Я, – твердо сказал я, потому что в чем, в чем, а в этом я не сомневался.

– Он опять что-то доказывал, с пеной у рта, и заплевал мне слюнями по телефону все лицо от Парижа до Копенгагена.

Госпожа Ивонн Баби должна была прийти в полдень. В десять утра Тонтон-Макут был уже на проводе.

– Ты что, теперь принимаешь журналистов из «Монда»?

– Ну и что с того? Или только тебе можно?

– Прошу тебя в любом случае не говорить, что ты мой... племянник.

Он всегда делает некоторую запинку перед тем, как сказать племянник. Потому что сын двоюродной сестры – это кто, правда? Или, может...

– А почему? Ты меня стыдишься?

– Тебе же хуже. Будут писать, что я тебе помогал.

Мания величия. Ну и мания величия! Я даже не смог засмеяться, только сказал «о!».

А потом мне стало совсем не смешно. Я часто делаю провалы в памяти, для вентиляции мозгов, но иногда не получается. Когда я написал вторую книгу, то подобрал название, которое мне здорово нравилось: «Каменная нежность». Как-то вечером Тонтон-Макут поднялся ко мне, уж не помню зачем. Иногда он демонстрирует личное присутствие. Он увидел рукопись.

– Да, я закончил.

– Заглавие есть?

– «Каменная нежность».

Казалось, он был потрясен. Нет, правда, другого слова не подберешь. Он что-то сглотнул. А потом улыбнулся. Я должен был насторожиться.

– Это очень, очень красивое название, – сказал он с нажимом.

И ушел.

А книга пошла в набор. Гранки были готовы, обложка тоже. До сих пор на обложке можно увидеть и нежность, и камни...

Я жил себе в Каньяке, никого не трогал. Вдруг вижу в окно его «ровер». Выхожу, жму ему руку, мы даже целуемся по-русски, чтоб не обижать родственников. Его мать была русская, моя тоже. Хоть это у нас общее.

У него было зверское лицо.

– Я еду в Испанию...

У него в Испании красивый дом, раз в десять лет он нас туда с Анни приглашает.

– Решил вот заехать к тебе по дороге.

Мы как раз обедали.

– Книга уже вышла?

– Да.

– А что за обложка?

– Очень красивый рисунок Андре Франсуа.

Он внимательно рассматривал салат.

– Название то же?

– Ну да. «Каменная нежность».

– Слушай, Поль, не знаю, в курсе ты или нет... Лично мне все равно... Но это название есть в одном из моих романов.

Я посмотрел на него:

– У тебя не было книги с таким названием.

– Да, но в одном из моих романов героиня, молодая американка, пишет роман под названием «Каменная нежность»...

У меня есть все его книги. Я вскочил и, кажется, что-то опрокинул – стул или какой-нибудь внутренний орган – и побежал проверять. Точно. Страница 81. Нежность камней. И

еще в ироническом контексте. Девушка, которая это сочиняла, была с придурью.

Я выбежал из дома, прыгнул в машину и рванул в Лабастид-Мюра звонить госпоже Галлимар.

– Измените название. Я с этим совершенно не согласен.

– Но обложка уже. . .

– Я знаю, знаю.

Этот гад дождался, когда стало слишком поздно, и «предупредил» меня. Он хотел, чтобы на обложке моей книги был след его влияния. Ирония.

– Послушайте, госпожа Галлимар, если вы не измените заглавие, я сдохну.

– Хорошо.

– Как это хорошо? Вам плевать, сдохну я или нет? Автором больше, автором меньше, какая разница! Так, что ли?

– Я хотела сказать, хорошо, заглавие изменим. Но почему?

– Это название – говно. Дрянь. Фальшак. Дешевка. . .

– А какое вы предлагаете?

Я думал. Не хотелось рисковать. Гаитянские колдуны очень сильны, и Тонтон-Макут, может быть, один из них. Подсунет мне какую-нибудь свою мысль. Подсознание кишмя кишит тонтон-макутами. Они там точно как у себя дома.

– Сами выберите название. Я не хочу его знать.

Когда я вернулся домой, Тонтон уже уехал. Если бы не Анни, я бы даже не знал наверняка, приезжал он или нет. Может, это подсознание в кои-то веки взяло и спасло меня.

А потом я вспомнил одну вещь: он сам подсказал мне название «Каменная нежность». Нарочно. Чтобы отметить меня своей печатью. Чтобы иметь духовного типа. Чтобы меня скомпрометировать.

Не могло чтение его книг так повлиять на меня, что, сам того не зная, я украл бы у него заголовок. Он сам мне его подсказал.

Анни говорит, что это неправда. Что он мне ничего не подсказывал. Но эта дочь Лота не знает всех дьявольских уловок, на которые способны гаитянские колдуны.

А что может быть мрачнее и гаитянистей, чем человеческая психика?

Кстати, он уже нашел в одной моей книжке следы своего литературного влияния. У меня вышло две книги, и в одной упоминается пачка «Голуаз». В его книге тоже. Он пользовался словами «удава», «слон», – и я тоже. Словами «черт возьми» и «сласти», – и я тоже. В обеих моих книжках я использую слова «ух» и «литература», – и у него тоже. У нас одни и те же буквы алфавита. Да что там, я попал под его влияние.

Когда мы с ним говорили по телефону и он попросил меня не говорить госпоже Ивонн Баби, что я его племянник, я сначала подумал, что он хочет избавить меня от лжи, что ему действительно раз в жизни стало стыдно. Во всем остальном доктор Христиансен непоколебим: сношения с двоюродной сестрой не являются кровосмешением. Никакого генетического урона тут быть не может. Ему не в чем себя упрекнуть.

– Я не упомяну тебя, не беспокойся.

– Это в твоих же интересах. Учти, рано или поздно все выйдет наружу. Но пока лучше, чтоб они не слишком копались в литературных влияниях.

Тут я рассмеялся. Мне правда стало весело.

– Нет влияний. И никогда не было. Ты всегда умел держаться на расстоянии.

И мы, не попрощавшись, повесили трубки,

В десять часов я пошел к доктору Христиансену. Он дал мне кучу транквилизаторов. Датское успокоительное гораздо успокоительней всех других.

Забыл сказать вам, что доктор Христиансен погиб от тифа в декабре 1975 года в девяноста километрах к северу от Аддис-Абебы, оказывая медицинскую помощь жителям деревни, охваченной эпидемией.

Этого не было, но просто я хочу, чтобы вы поняли, что он действительно отличный мужик и что я им здорово восхищаюсь.

Когда нацисты приказали датским евреям нацепить желтые звезды, а то кругом одни евреи, король Дании Христиан объявил, что он тоже наденет желтую звезду и проедет в таком виде по Копенгагену, верхом на коне.

Вот поэтому я и лечусь в Дании.

Когда госпожа Ивонн Баби приехала, вокруг меня собралась вся родня.

Во-первых, отец, черногорец, умерший в Ницце от приступа хохота, вызвавшего внутреннее кровотечение. Должно быть, при этом он думал, какая это удачная шутка. Он всегда смеялся невообразимо громко и сильно, ему нужна была вся мощь смеха, чтобы минимизировать действительность. Он был лыс. И к тому же выпивал в день по тридцать рюмок аперитива, не говоря обо всем прочем. И еще он мог проглотить что угодно. Залив «рюмочкой для пищеварения». Когда после всего этого он начинал смеяться, я прятался, потому что у него все было наоборот, все наизнанку. Сначала гром, потом молния. Мать тоже пришла на встречу со спецкором мира, но о ней писать нельзя, потому что я ее уже использовал. Пришла Алиетта, прикинулась Анни, и для пущего правдоподобия сделала нам кофе. Был еще Ажар – божья коровка ростом метр семьдесят четыре, и он пытался найти аварийный выход. Мигала пожарная сигнализация, выли сирены. Госпожа Симон Галлимар подливала масла в огонь, потому что трудно отрицать в присутствии своего издателя, что использовал собственную мать до последнего вздоха, до ее последнего крика и сделал из нее книгу. Никто не усомнится, что я – законченный автор.

Мой дед по материнской линии был таким огромным казаком, и я бережно храню его фотографию в форме пожарного славного города Курска. Я отрастил себе усы, как у него, а любовь к пожарной сигнализации у меня с детства.

Дед Илья был неумным игроком. Его жизнь прошла за картами, рулеткой и всеми прочими азартными играми, которые только можно вообразить и список которых он составил незадолго до смерти. Мама говорила, что, уже полупарализованный, дед все читал и перечитывал этот список днями напролет, чтобы еще раз с удовольствием вспомнить волшебные слова «очко» – «глаз» – или скромное «21», и, естественно, его последними словами были «Игра закончена». Он был в Вильно директором крупной нефтяной компании и проиграл ее уставный фонд в рулетку в Сопоте, на побережье Балтики. Но семья у него была дружная, и родственники бросились на помощь, потому что такой позор был просто невыносим. В семье было два брата и четыре сестры, в том числе мать Тонтон-Макута, и они вместе занялись спасением заблудшей овцы. Они собрались у него среди ночи, связали его по рукам и ногам, открыли сейф, чтобы было похоже на ограбление, и вылезли через окно в сад. Эти люди имели понятие о чести.

Претензий к деду Илье предъявлять не стали, но нефтяная компания его все-таки выгнала, несмотря на отсутствие доказательств. Тогда он переехал в Германию и, взяв быка за рога, открыл в Берлине подпольный игорный дом, приносящий ему огромные деньги, которые он тут же спускал в других подпольных игорных домах. Он женился на очень набожной еврейке, которую страшно мучил, потому что считал, что она молится за него в синагоге и портит ему удачу. Удача-то всегда заодно с грехом, и религия относится к азартным играм довольно прохладно. Из Германии деда Илью выдворили, когда он стал отдавать долги фальшивыми векселями, – он всегда отдавал долги, такой у него был принцип. Дед оказался с небольшой суммой денег в Монте-Карло, и тут ему в голову пришел замечательный трюк: в Ницце у него был ювелирный магазин, и каждый раз, проиграв в рулетку, он поджигал свой магазин и получал страховку. Трюк оказался очень выгодным, но когда дед пошел на вторую ставку – это был ювелирный магазин на улице Буффа, который назывался «Талисман», он так перестарался с пожаром, что сам чуть не угорел. Тогда он решил взять компаньона. Но на третьем пожаре у страховой компании случился кризис доверия, к нему прибавился большой кризис 1929 года, и дед оказался без средств к игре. И тогда его дочь, моя мать, открыла ювелирный магазин «Рубин» на улице Франции, тоже в Ницце. Но она его никогда не поджигала для получения страховки, потому что под влиянием деда выросла глубоко порядочной женщиной. На игру

она ему выдавала по десять франков в день.

Когда играть не получалось, дед Илья сочинял по-русски психологические драмы и заставлял потом бабушку читать их ему вслух. От этого бабушка становилась все набожней и, едва дочитав, бежала молиться в синагогу. Таким образом, дедушка написал в Ницце пятьдесят три психологические драмы, которые должны были прославить его, когда после падения большевиков он собирался вернуться в Россию, – это ожидалось просто со дня на день. Вся белоэмиграция и парижские таксисты-белогвардейцы, – а их было более двух тысяч, – думали точно так же, как сейчас думает Солженицын, правда тогда они считались реакционерами. Дед ненавидел бабушку, но не за то, что она была еврейка, потому что, несмотря на свое казачество, он не был антисемитом, а потому, что над ней измывался. Чем больше измывался, тем больше ненавидел. Суровая наука психология.

Я часто думаю о тех пятидесяти трех драмах, что написал дед Илья Осипович, и, чтоб ему было приятно, воображаю их гениальными. Я его не застал, поэтому очень люблю. Еще мне кажется, что он играл на проигрыш, потому что жить не мог без драм.

Он был совершенно лысым, как мой отец, хотя один был югослав из Черногории, а другой русский из Курска. А у меня полно волос, и это доказывает, что наследственности можно избежать.

Всем родственникам по материнской линии нужны были драмы. Одна из сестер моего деда в семнадцать лет вышла замуж за юношу, который в первую брачную ночь заразил ее сифилисом. Она сошла с ума. Другую его сестру, Ольгу, точно как в «Конармии» Бабеля, изнасиловал казак. У русских в крови страсть к драмам. Так что оставшаяся часть семьи сгорела в газовой камере в 1943 году.

Извините, что я ору, просто голоса не хватает.

Великим несчастьем моей матери была порядочность. Возможно, это самое большое несчастье, потому что не оставляет человеку никаких шансов.

Могу доказать. Моя мать честно прожила жизнь, честно вырастила троих детей и умерла как последняя сволочь от медленного склероза сосудов мозга с ужасными периодами улучшения, когда к ней полностью возвращался рассудок и она мучилась еще больше.

В двадцать лет она выстрелила себе в сердце. Профессор Кожин, из Ниццы, спас ее, и так на свет появился я. Со мной она тоже дала промашку.

Не знаю, в кого была влюблена моя мать и почему она решила пустить себе пулю под сердце. Я могу только строить гипотезы.

Тонтон-Макут переводил ей небольшое ежемесячное пособие. Думаю, об этом надо сказать.

У него есть фото моей матери в двадцать лет. Об этом тоже, кажется, надо сказать. Она стоит у него рядом с фотографией генерала Де Голля. Надо сказать и об этом.

Мой отец был директором отелей «Скриб» и «Континенталь». Мне еще случается встречать в Ницце людей, которые смотрят на меня с уважением, потому что он был легендарным пьяницей. Никто и никогда не видел его пьяным. В девятнадцать лет он начинал день с полубутылки сливовицы.

Он оставил мою мать в нищете, но с легендой.

Когда газеты написали, что Эмиль Ажар не существует, что все сфабриковано, они были правы. Я чертовски сфабрикован и даже доведен до блеска.

Мы все сами себе незаконнорожденные.

Госпожа Ивонн Баби спросила меня:

– Как к вам пришла мысль писать ажаром?

Не пришла она мне в голову. Мне ее подарили. За так.

У меня в лицее в Ницце был приятель, у которого мать была в приюте для умалишенных. А отец алкоголик.

Приятели звали его Жежен.

Я-то переехал в Тулузу и закончил лицей там.

Жежен. Альманах Вермо знаете?

Вот так я и украл у приятеля идею писать ажаром.

Однажды вечером мама взяла картонку, сунула туда не глядя кучу драгоценностей и часов, потому что «Рубин» был еще и часовым магазином, и отправилась пешком из Ниццы в Париж – повидать меня.

Когда ее нашли, она блуждала по полям, не разбирая дороги, и не могла говорить.

Так длилось полтора года, то туда, то обратно.

Она говорила:

– Ты будешь писателем, когда. . .

А может быть, она говорила: как дядя. Уже не помню.

Моя мать – семидесятипятилетняя дама, датчанка, которая мирно проживает в Бьерко, разводит собак и цветы. У нее седые волосы, она часто смеется. Я вижу ее по несколько раз в день, особенно теперь, когда живу в Копенгагене. Мой отец тоже датчанин, он дальний родственник доктора Христиансена. Думаю, мой настоящий отец – доктор Христиансен, и сам я тоже датчанин. Датчане – не антисемиты.

Я использовал предсмертные мучения лично мне не известной дамы, чтобы описать агонию мадам Розы в романе «Вся жизнь впереди».

Не хочу об этом говорить и именно поэтому говорю.

Вот передо мной Поль Павлович. Ему двадцать лет. Он пишет стихи под напором внутреннего крика. Но сквозь стихи по-прежнему пробивается крик, он растет и растет. Крик не может выйти наружу и разбухает. Он начинает гнить. Крик не может высвободиться, и преступление остается внутри. Жизнь продолжается, одно преступление пыталось переплюнуть другое. Тогда крик становится андским королевским кондором, взлетает, и тут у меня случились первые неприятности, потому что я сел на крышу и не хотел с нее слезать. Я стал овощем, артишоком, но я недолго оставался артишоком, потому что с него снимают листья, его смакуют, он питателен, это все равно что быть поэтом, их тоже все время смакуют.

Теперь в депрессиях есть доза лития. Потому что есть счастливики, которые впадают в депрессию и знают об этом. У меня же все обыденно и привычно.

Я стал удавом и потом еще одной книгой, чтобы меньше ощущать принадлежность. Но я взял себя в руки, вывел себя на правильный путь и получил авторские права. Во мне боролись двое: тот, кем я не был, и тот, кем я быть не хотел. Но моя вина продолжали видаться мне совершенно отчетливо, и все вокруг было обыденно и привычно. Я принялся ежедневно изобретать персонажей, которыми я не являлся, чтобы достичь еще меньше себя.

Копенгагенское интервью продлилось два дня. С помощью предметов первой необходимости я держался молодцом. Страх, что меня найдут, что узнают, что котенок действительно умер, окончательно и бесповоротно, и что я подлежу, кричал во мне как Бэконовские папы в своем куске льда. Мысль о том, что впервые в истории человечества меня приняли в счет, задавали вопросы, повесили мое пальто в ничьей прихожей и оно своими пустыми рукавами свидетельствовало об опасном и невидимом человеческом присутствии, вся ваша предыстория и прецеденты, не говоря о приобретенных чертах, абсолютное равнодушие ко мне Пиночета

и его неведение относительно того огромного вреда, который я ему причиняю, смехотворная ничтожность моих воплей, заурядность Анни, которая ходила туда-сюда с чашками кофе так, как будто была возможность спокойствия и мира, несмотря на угрозы, чудовищность которых не поддается формулировке, в силу всех этих причин Ажар бежал искать трещину в реальности, в которую можно было бы забиться, удрать от внутренней инквизиции, пыток водой, тисками с винтом и пустой, темной, глубокой и звучной пустотой, звучащей в искусстве вечно грядущего мира.

Когда я прочел интервью мадам Ивонн Баби на целой странице «Монда», оно было так мало похоже на меня, что я поверил, будто сказал ей правду. Отсутствие меня – как это на меня похоже. Наконец-то я существовал, как любой другой человек. Это так меня напугало, что у меня тут же началось ухудшение, и, когда госпожа Галлимар увидела меня в таком состоянии, с пучком суицидных попыток в руке, она сильно испугалась. Выражаю ей благодарность за доброту.

Придется вернуться назад. Раз уж мы говорим начистоту, делаю это против воли. Я не решился написать эти строки на положенном им месте, в предыдущей главе, потому что тогда я еще химически не созрел. Поэтому придется сделать отдельную главу и воздать по заслугам моему новому лекарству, название которого доктор Христиансен запретил мне вам называть из-за медицинской этики.

И я все скажу, потому что сейчас у меня нет угрызений совести, все смягчено. Вдруг найдется читатель, уж я его не пощажу. Себя я тоже щадить не собираюсь, потому что в этом отношении я самоучка, я изучил себя сам, без помощи Тонтон-Макута, и не могу больше от себя скрывать то, что я про себя знаю.

То, что я указал вам из своего генеалогического дерева, я знаю от матери. Она мне не врала, но очень Меня любила, а врать из любви – одна из старейших истин народного органа.

Не знаю, почему она выстрелила в себя из револьвера. Но пуля продолжает расти во мне.

Вынужден сказать здесь, что свидетельства о рождении Тонтон-Макута и моей матери, как назло, обнаружить невозможно. Они их оставили в России, в колыбели всех неприятностей, и как я ни старался их достать, не смог. Все смела великая чистка – большевистская революция. Мне никогда не узнать, были ли они братом и сестрой, был ли инцест. Наверно, это просто внутренний слух: у психики и подсознания всегда были злые языки. Клевещите, клеветайте, что-нибудь да останется, и этим чем-нибудь, наверно, буду я. Я чувствую себя продуктом невыносимо братской близости по крови, и моя кровь тащит этот продукт от одного побоища к другому, он умирает под пытками, его пытаются, и он пытается, он террорист, и ему объявлен террор, он раздавлен, и он давител, я перепиливаю себя пополам, я шизофреник, одновременно уничтожающий и уничтожаемый, Плющ и Пиночет, и тогда меня охватывают мрачные гуманитарные, острые мессианические и реформаторские позывы, с применением психиатров и химических смирительных рубашек, меня терзает параноидальная вера, что все мужчины мне братья и все женщины мне сестры, отчего у меня нередко пропадает эрекция. Мне даже пришлось потребовать от Алиет представить выданное мэрией Кагора успокоительное свидетельство о рождении: отец тот-то, мать та-то, потому что Тонтон-Макут вполне способен зачать и ее тоже, как при нашем рождении, для того чтобы таким образом сделать привычным, путем повторения от отца к сыну, свое собственное преступление по отношению к нам. А может, он хотел генетически вывести путем умышленнейшей селекции особь, настолько чувствующую вину, настолько уязвимую, настолько восприимчивую, что в результате семья произведет на свет еще какую-нибудь литературную особь с хорошеньким кризисом мистицизма. Итак, у меня нет ровно никаких доказательств, и уж точно не мне предьявлять Богу или любой другой безответственной инстанции, похваляющейся своим воображаемым несуществованием для того, чтобы впутать нас в тщетные поиски отца, – еще один счет за нанесение умышленного ущерба, единственным результатом которого на сегодня является растущее число адвокатов, поочередно отказывающихся вести мое дело, потому что якобы параноики всегда обращаются к адвокатам, а не к врачам. Если я параноик, то уж точно мир населен людьми, у которых параноии не хватает, так что преследований избегают только преследования.

Каждый день я опускал в почтовый ящик больницы анонимное письмо, без адреса и адресата, хотя последний и не существовал и поэтому привык к подобным обвинениям. Кстати, я узнал от медсестер, что не я один в больнице мучился болезненной зависимостью. На втором этаже жил всемирно известный писатель, который пытался создать Бога из произведений искусства. Его лечили уже три месяца, и я иногда встречал его в коридоре вместе с раввином Шмулевичем, – мама часто рассказывала мне о нем, потому что он был нашей родней по

истребленной части и в свое время его мудрость была легендарной. Его зарубили саблей во время бердичевского погрома 1883 года, и в клинику доктора Христиансена он пришел только из страха. Это легко объяснимо и хорошо известно тем, кого пускали в расход без счета: от испытанного в прошлом ужаса всегда остаются неподконтрольные элементы и дремлют где-то внутри. Поэтому, как я сказал, когда я встречал его в коридоре, я делал вид, что не вижу его, из уважения к нейролептикам, но однажды он вошел в мою комнату и, пользуясь тем, что в детстве мать рассказывала мне на идиш одно старинное стихотворение, сказал мне с улыбкой:

– Спи, малютка, спи малыш. Где-то далеко есть совсем другие песни, и каждая из них еще, может быть, породит новые счастливые миры.

Но я вышел из детского возраста, и у меня не было извинений. И мне, конечно, известно, что существуют великолепные крики, без усталости исторгаемые в музеях и в библиотеках, но эти шедевры ведь тоже письма неизвестному адресату. Я не буйный и не пойду поджигать их или резать ножом во имя настоящей жизни. И я ответил раввину так на так:

– Я не нуждаюсь в ваших утешениях и обнадеживательских уловках. Факт в том, что человечество – единственный упавший плод, никогда не знавший дерева. Единственное возможное решение – принять его таким, какое оно есть, – упавшим, выброшенным, ущербным, стараясь, чтобы это не было очень заметно. Именно эта священная обязанность – бороться с излишками ясновидения – и возложена на психиатров. Вот почему я здесь. А здесь, господин раввин, – это карикатура на там. Принять это нелегко. Но я смогу.

Он теребил свою бородку, размышляя над анонимностью.

– Можно вообразить себе стихотворения в форме небесного тела, где живут счастливые семьи, – заявил он мне.

– Действительно, есть разные сильно гадостные надежды, – возразил я, – и я готов признать, что без кусочка сахара не прожить. Однако» господин раввин, если суммировать все молитвы, направленные куда положено с тех пор, как раздался первый крик, становится соблазнительно допустить вместе с Мао, что у восьмисот миллионов китайцев больше шансов добиться успеха. Правда в том, что чистого золота в природе нет и подделка всегда остается подделкой.

Он взглянул на меня грустно и исчез, не с силах бороться со ста пятьюдесятью каплями галоперидола.

Мне также позвонили из издательства: госпожа Симон Галлимар интересовалась, как я собираюсь озаглавить свою новую книгу. Я ей сказал, что заглавие «Псевдо», она долго молчала, и я боялся, не затронул ли я ее религиозные чувства.

Иногда все же бывали минуты, когда фальшь становилась невыносимой и я искал нам оправдания. Я говорил себе, что, возможно, мы находимся в том бесформенном состоянии – уродливом, незавершенном, заброшенном, – в котором Фауст пробыл все то бесконечное для него время, пока Гёте его писал. На этот счет существуют различные свидетельства, в частности письмо молодого Гейне, посетившего Фауста, когда у того было только полголовы, одно яйцо, а рук не было вовсе. Обычно забывают, что Гёте трудился более пятнадцати лет, пока не закончил свою книгу. Таким образом, возможно, речь идет об авторе, на самом деле существующем, но неторопливом или понятия не имеющем о времени. Надо выделить долю священного огня и вдохновения у творческого работника, даже если пока он только тысячелетиями напролет кидает в корзину черновики. Иногда я для смеха чертил у себя на животе подпись Тонтон-Макута, о котором в то время еще не говорили, что он мой автор. Еще никто не подозревал о наших наследственных связях.

Я чувствовал себя лучше, суицидные мысли исчезли, я больше не хотел уничтожить себя,

оставив записку: «Это не розыгрыш». Я яснее видел долю универсальности и в царящем вокруг меня равнодушии, и в моем конфликте не-сына с не-отцом.

Были еще моменты, когда отсутствие становилось невыносимым и я снова начинал борьбу. Я смотрел на высокое дерево в саду и спрашивал: кто это? – как в детстве. Я отлично знал, что на их жаргоне это называется регрессивным поведением, или движением вспять, но если пятиться, может быть, встретишь кого-нибудь на пути.

Стены клиники были звукоизолированы из-за боев под Бейрутом, но я слышал, как вокруг меня сновали дм миллиарда подделок присутствия, занятых налаживанием циркуляции фальшака. И что еще хуже, по ночам шайки слов сбивались в стаи и мерялись подделывательными силами. И даже молчать надо было крайне осторожно, потому что эта сила проникала внутрь, и в попытке ее избежать поэты морили себя молчанием. Бывает, сорвется какое-нибудь слово, выбежит на дорогу с пустой канистрой машинного смысла, но нейролептики тут же забивают дыру. Кто-то шептал мне, что я трус и что единственный способ обороны – вооруженный, но я не способен на выбор жертв. Доктор Христиансен одолжил нам два стетоскопа, Алиет ложилась рядом, и таким образом мы порой говорили до рассвета.

Доктор Христиансен оказался подонком. Наступила его очередь быть гадом. Не стоит думать, в Дании тоже есть свои гады. Каждый год датчане избирают людей, которые по-братски берут на себя роль очередных гадов. Датчане очень совестливы и солидарны с остальным человечеством и не хотят рвать эти связи.

Таким образом, доктор Христиансен оказался в свою очередь гадом, когда отказался оставить меня в своей клинике в октябре 1975 года. Он знал, что третья книга почти написана, и сказал, что я уже получил все, что мог, от болезни и пребывания в Копенгагене. Он решил, что я взял себя в руки и умело использую, и объявил, что я нормален и здоров.

Я сказал ему, чтобы его растрогать, что возвращаюсь в Кагор ухаживать за старшим братом и за отсталыми детьми. Но он отказался мне помочь.

– Я знаю вашу систему защиты, Ажар. Ваш брат – это вы в детстве. Вы другой – совершенно нормальный зрелый человек. Ребенок «с причудами», которому всегда двенадцать лет, сколько бы ему ни было на самом деле, – тоже живет у вас. Вы прячете его изо всех сил, вы даже отрастили себе огромные усы, чтобы лучше скрыться. Согласен, положение нелегкое, но плодотворное. Потребность в мифологизации – всегда признак ребенка, не желающего расти. Продолжайте писать, и вы, может быть, получите литературную премию.

И он выдворил меня, потому что выполнял общественную миссию.

Я боялся ехать в Париж из-за пешеходных переходов. Натура водителя такова, что на зебрах больше всего шансов быть задавленным. Место узкое, четко отмеченное, парень за рулем может точно прицелиться.

Плюс зеленый свет, еще один шулер, усыпляет бдительность: переходи! – а ты и попался. Я всегда перехожу на красный.

Я все-таки сделал остановку в Париже, чтобы увидеться с Тонтон-Макутом. Сказать мне ему было нечего. Значит, могли нормально побеседовать. На нем был синий халат со слонами – реклама одной из его книг. . .

Он протянул мне руку:

– Как дела?

– Тип-топ.

– Закончил?

– Да. И у меня в голове другая книга.

– Вот как?

Я ждал. Ему было наплевать – но тактично.

- Хочешь, скажу сюжет?
- Лучше прочту.
- Мне нужно, чтоб ты дал разрешение на публикацию.
- *Что?*

У него на лбу вздуваются вены, его распирает внутренняя жизнь.

- Как отец, да? Когда это я пытался на тебя влиять?
- Никогда, ни в кои веки. Ничего подобного ты себе не позволял. Речь не о том. В этой книге я рассказываю о тебе.

Он засмеялся:

- Отличный сюжет.
- Я рассказываю все.
- Всего в литературе не существует. Всегда есть только отдельные фрагменты. Идея сказать все в одной книге – идея дилетанта. Нехватка опыта.
- Я рассказываю, что ты спал с моей матерью и отказался отвечать за это передо мной.

Доктор Христиансен положил мне дружескую руку на плечо. Алиет стояла рядом. Анни, которую от скуки выдумывает реальность, – не было. Тонтон-Макут был далеко. Вокруг стояла привычность и ежедневность. Я лежал, широко раскрыв глаза, но кричать не хотелось, ведь я не боюсь призраков. Они – наши лучшие друзья.

Я боролся. Ацетаты барнума мешались с зауемью для пушного отсутствия смысла. Карнабабашки возбуждали для вящей бессмысленности. Глуздры клопотали, чтобы подкосить телок и откинуть слова. На виадуках цвели виоки и наслаждались абатки для пушей оригинальности. Конечно, в мире еще оставались цветы, но они пахли сенжоннаперстянкой. Иногда Рембо протягивал мне свои ручки и карандаши. Я из последних сил давил в себе поэму. Под красными абажурами пустые скорлупки слов тонули в поисках глубины, опрокидывались под тяжестью содержания и всплывали на гладкую поверхность, но смысл все равно проклеивался, несмотря на мои нечеловеческие усилия, – слова шатались и искали, кого бы обмануть.

Он стоял у изголовья, он был по-прежнему невозмутим. Ничего, никакой реакции, неизменность.

А потом он взглянул на меня прямо из Парижа.

Голубыми, немного покрасневшими глазами, – но это просто усталость. Ни капли сострадания. Голубой цвет глаз – это еще одна обманчивая репутация.

- Знаешь, всем сюжетам цена одна. В счет идет только манера подачи и талант. Угрызения совести, ненависть к Отцу, потому что он еще не на небесах, отвращение и кровосмешение, в котором нет ничего исключительного, попытки скрыть поглубже любовь, наследственное проклятие, человечность потомков. . . Почему бы и нет, – если так получится еще одна хорошая книга? Пиши обо мне, о себе самом, пиши и ничего не бойся. Радек говорил Сталину: «Хорошая хозяйка пускает в дело даже отбросы». Я в тебя верю.

Он смотрел на меня не отрываясь, и в глазах у него отражался я сам. Неумолимость пустоты грозила вылиться в искупительную чистоту творчества.

- Значит, нет ничего важнее литературы?

Неправда, еще он любил сигары.

- Знаешь, если книга талантлива, то потом, всегда, так или иначе литература сливается с жизнью, оплодотворяет ее. . . я это уже объяснял. . .

Он улыбнулся:

- . . . Кстати, в одной книге.

– Тогда какая разница, Тонтон, между законченным подонком и благодетелем человечества?

– Бывают подонки по жизни и благодетели человечества по творчеству. . . Я лично человек совершенно не законченный. И ты тоже. Все такие. В человеке много есть чего про запас – хорошего и плохого.

Э, да он еще и гуманист, подумал я. А может, даже сказал вслух, потому что откуда ни возьмись понабежало десять тысяч кюре и – ну отпускать мне грехи именем моих высоко- нравственных страданий и его восхитительных книг.

– Освенцим как-то не дал ощутимых художественных плодов. Видимо, придется повторить, – сказал я. – Сифилис отступил под натиском медицины, и нехватка гениев становится все ощутимей. Надо снова оплодотворить мир кошмарами, чтобы в результате получить Достоевского или Гойю. Ты не священное чудовище, ты чудовище – и точка. Я ненавижу тебя, потому что, отражаясь в тебе, я выгляжу уродом.

– Он скоро навестит вас, я ему звонил, – сказал доктор Христиансен. – Напрасно вы так упорствуете, Павлович, скрываетесь в клинике, пытаетесь окончательно свихнуться. От себя не убежишь.

Я думал о немецких городах, которые бомбил Тонтон-Макут. Тысячи мирных жителей – в клочья. А ведь во взорванных им домах жили канарейки, собаки, кошки. Сотни котят. Он ни за что ни про что убил тысячи ни в чем не повинных тварей.

Нини, подумал я. Это мысль Нини. Берегитесь цинизма: с ним легче жить.

Тонтон встал. Он занимал собой всю комнату. Я сказал ему:

– Может быть, все это – мое необузданное и мрачное воображение, но я убежден, что ты – мой отец.

– Интересно почему?

– Потому что я ненавижу тебя просто до невозможности.

На его лице промелькнуло страдание, а может, это я так, размечтался. Бог всегда умел прикрываться от ненависти бесчисленным множеством папаш.

Не знаю, то ли оказался прав доктор Христиансен, то ли просто я увидел себя размазанным на всю страницу «Монда» и потому панически испугался. Это была первая газета, которую мне разрешили почитать в этом месяце. И я прочел ее от первой строчки до последней.

Получилось агрессивное поведение.

Мне опять запретили радио и газеты, но внутри меня все шло своим чередом, и меня страшно тянуло к другим видам.

Обезьяны нечеловеческими гроздьями спаривались вокруг, – при виде такой невинности и от избытка чувств я рыдал. Немыслимые жопы летели по небу, и, не найдя ни в чем состава преступления, я снова рыдал от благодарности.

Иногда с неба падали головы, и некоторые из них еще досматривали сны.

Бог, с веревкой на шее, очутился в Корале ОК, Бог стал лошадью, чтобы сбросить часть вины. Лошади в Бога не верят и не мешают его с конским дерьмом. Бог пристыженно ржал. Кони вставали на дыбы и защищались: они знали, что такое счастье.

Иногда до меня долетали обрывки речи, но абортные бригады слов быстро делали свое дело. И тогда наступали алфавит, грамматика, словарный запас, синтаксис, цивилизация, фигуры стиля, порядок, репрессии.

У галоперидола нет вкуса. Если кормить им советского диссидента, то он ничего не заметит. Это произошло месяц назад на третьей странице «Монда».

Галоперидол – это галлюциноген, он успокаивает реальность и делает ее менее агрессивной.

Его смешивают с реальностью по 150 капель три раза в день.

Если у вас бред, то галоперидол никакого Паркинсона вам не сделает, вы даже не одеваете. Зато если вы соответствуете реальности, если вы в норме, то эти капли сделают вам болезнь Паркинсона. Что доказывает, что у шизофрении есть физиологические причины и надежда на наследственность.

Я слушал-слушал эти мирные рассказы доктора Христиансена и возопил.

– Ваш галоперидол – махровый реакционер. Он правый. *Он участвует в репрессиях.* Он гасит возмущение, бунт и революционную ярость. Он – против воображения.

Датчанин завилял хвостом. Он положил свою добрую морду мне на колени.

– Все так, – пролаял он, – из коммунистов у нас один анафранил. Возбуждает, стимулирует. . . Галоперидол – фашист, анафранил – левак.

И снова залаял, завилял хвостом, потому что у собак все поправимо.

Я попытался смыться через окно, добежать до Ближнего Востока, сделать пару-тройку чудес, но не поймал такси. Меня вернули в больницу. Доктор Христиансен интересовался, не скучно ли мне висеть на кресте, и высказывался в том смысле, что пора мне справляться с делами в одиночку. Попробовали бы они шархнуть инсулином Иисуса Христа – за попытки агитации!

Взяв себя в руки, я заметил, что у меня в комнате одним стулом больше. У меня обычно стоял один стул и другой для доктора Христиансена, но он никогда не садился. Теперь стульев было три. Сначала меня это насторожило, потому что у меня и так достаточно врагов. Потом я понял, что Тонтон-Макут, должно быть, примчался в Копенгаген и провел несколько тревожных ночей у моего изголовья, а потом вернулся к себе. Иначе как объяснить тот факт, что его здесь нет?

Я заехал в Париж поблагодарить его. Он был в синем халате со слонами – для рекламы одной своей книги. Фирменное изображение.

– Этот прием навязчивого повтора уже использован в одном моем романе, – сказал он.

Я дал ему письма. Я в чистом виде просил снять свою кандидатуру со всех литературных премий.

– Зачем мне их цацки? К тому же я не в состоянии. Не хочу выставляться. Все скажут: вот псих.

– Хорошо. Я доставлю их по адресам накануне «Ренодо» и «Гонкура».

– Не хочу, чтобы все узнали, кто я. Ни у кого нет моей настоящей фотографии, никто не знает, где я живу. Не за что схватиться. Все думают, что я бродяга, что живу за границей. Что я в розыске и не могу вернуться домой. Штука не в том, чтоб стать частью общества, а в том, чтобы для собственного же блага стать частью самого себя. Мало того, что такое иногда случается, но в этом-то и заключается настоящая победа жизни.

Он согласился:

– Из этого вышел бы интересный роман. Сюжет современный.

Я тогда не понимал одного: почему каждый раз, когда я встречаюсь с единственным человеком, который мне дорог, я испытываю такую ненависть к самому себе. Может быть, в этом нет ничего семейного или личного. Настоящая причина в том, что я не отвергал применение страдания ради искусства. Я не мог смириться с мыслью, что одни шедевры чувствуют себя прекрасно.

– Зачем тогда ты пишешь книги, почему зовешь – никто меня не спрашивает.

Все эти ничьи вопросы небезопасны и оккупируют безответственные психические элементы. Их можно на время заставить замолчать с помощью обволакивающего химического воздействия, но можно и дать им пронзить себя, как высокочастотному кабелю, который разряжается в бумагу, чтобы не взорваться. Я раскладываю перед всеми свои кишки, потому что нужна общественная разрядка. А что в такой колоссальной озабоченности моей мелкой персоной есть доля мании величия врачей, только это не я, а мое никчемное состояние достигает таким образом размеров безграничности. Еще я знаю» что мой писк раздавленной мыши носит слишком клинический характер, и наслаждения не получается, но кишки корчатся без всякой оглядки на литературное творчество.

Я хочу утопию со счастливым концом, без всякой потребности в искусстве.

А может, это у меня, как сказал доктор Христиансен, нечеловеческий страх смерти. Ничто смертное не может быть подлинным. Моя ненависть к шедеврам была ревностью смертного.

Тонтон-Макут выглядел грустным.

– Они доберутся до тебя и в Каньяке, знаешь. И честное слово, я не знаю, что ты пытаешься скрыть.

– *Ничего*, – ответил я ему. – Сознайся, что если что и стоит получше спрятать, так это это. Не хочу никого заражать. Я сохраню *ничего* для себя. Иначе мне пришлось бы действительно как бы вроде притворяться, привлекая религию и идеологию. Прятать всеми способами это ничто, вид которого невыносим. Я не социолог, алиби у меня нет. Я подвержен генетике уже три миллиона лет и продолжаю ей подвергаться. Я теряю надежды. Наступит день, и кончится царство наследственности.

– Я в общем согласен с *ничем*, но только никогда не было и никогда не будет основанных на ничем шедевров. . .

– Что ж, мы понимали друг друга. Он отказывался видеть в искусстве только объект, потому что верил в себя.

Я вернулся в Лот. Анни ждала меня.

Как-нибудь я расскажу вам о женщинах. Но сначала дождусь, пока внутри не останется ничего, чтобы действительно было много места. Как-нибудь мне удастся сделать внутри себя такую огромную пустоту, чтобы уделить им место по-настоящему. Но книги имеют начало и конец, и невозможно говорить о женщинах в том, что имеет начало и конец. Они заслужили большего.

Когда я очутился в Каньяк-дю-Кос, то приложил ладонь к земле, чтобы было наверняка.

Еще есть хлеб, но, чтобы было наверняка, надо печь его самому.

В камине под видом братского приветствия горел огонь.

На чердаке жил белый-белый эрцгерцог, его не обижали, и по ночам он спускался проводить ребенка, который жил в доме.

Ночи казались менее тревожными, видимо, доктор Христиансен им что-то прописал.

Я шуршал упавшими на землю орехами, им пора было зреть, и большой орешник у входа бездумно подчинялся законам природы.

По ночам я спал спокойно. Как-то зашли жандармы и попросили предъявить документы, и я не испугался, потому что полиции преступника все равно не найти.

Когда вставало солнце, я не боялся выходить из дому и без страха смотрел на окружающую действительность, потому что меня хорошо лечили. Иногда я еще немного беспокоился, но потом думал, что оснований для прозорливости нет, и жил от всей души.

Анни заняла место Алиетты. Алиетта ушла, потому что была неизлечима.

Я забыл Ажара. Я знал, что больше он мне не понадобится, что я никогда больше не стану писать книг, – потому что теперь я не мучился собой.

Никто меня не навещал. Никто не звонил. У мира ничего не болело. Я выздоровел, полностью выздоровел.

Я стоял перед домом с мотыгой на плече, когда подъехал серый «рено» с какой-то особой за рулем. Я знал эту особь. Это был Бузеран, приятель Анни по прежней жизни в Кагоре. Я был настолько здоров, что чуть не бросился ему на шею. Лицо у него было серое. Или машина полиняла. Он работал в журнале «Пуэн» и приехал из Парижа с фотографом, чтобы взять меня на мушку.

– Ты Ажар.

Я был настолько здоров, что глазом не моргнул. Я даже не задушил его. Ей-Богу, я могу доказать, что не убивал ни его, ни фотографа, потому что они оба живы, а если будут говорить, что я вру, я потребую вскрытия: раз они прикинулись покойниками, значит, еще живее, чем думают.

Я впустил их в дом и пошел искать охотничье ружье. Но я был в здравом уме и знал, что получится просто еще один громкий случай, не хотелось ради громкого случая ломаться, а то последние сто тысяч лет у нас все время то гремит, то случается, – сколько ж можно.

Фотографа звали Ролан, он по молодости кое-что понимал. Бузеран тоже кое-что понимал, но только оттого, что был умный.

Они в общем-то вели себя неплохо. Я вытащил нож, и за столом у нас сложилась удобоваримая ситуация.

Фотографу позарез нужны были мои глаза: глаза Момо, которому в моей автобиографической книге двенадцать или сто тысяч лет. Бузеран не возражал, потому что был еще живой. Они позвонили начальству в «Пуэн», и начальство согласилось, потому что громкий случай – убийство корреспондента и о нем будут писать все газеты четыре дня подряд, а потом они выпустят свой журнал.

Я был такой нормальный, что, когда позарез попросил поехать с ними в Париж, я согласился. Я ехал всю дорогу свободно и без принуждения, наручников они мне не надевали.

Я позвонил доктору Христиансену, который тут был вроде и ни при чем, и сказал: я прекрасно справлюсь в одиночку, малыми дозами транксена, как прочие литераторы.

– Вам сейчас грозит только еще одна книга. Вы взяли себя в руки, старина, и продолжаете держать. Счастливо.

В Париже меня кормили в шикарных кабаках. Я ничего не мог проглотить, потому что чувствовал себя прекрасно, в полном порядке, без всяких страхов, так что в желудок ничего не лезло.

Они сдержали слово. Они взяли у меня только глаза. На их фотографии больше ничего из лица не видно. Они не назвали мое настоящее имя. Это меня доконало. Я терял шанс прославиться. Я уже ничего не соображал и путался в убеждениях.

Я старался держаться. Во время ужина я потерял голову, но никто не заметил. Я держусь за свою голову, я говорил вам, что она не моя. По утрам, когда я вижу свою рожу, я так пугаюсь, что у меня находятся силы выйти из дома и общаться со взрослыми людьми.

Тем временем газета «Депеш дю Миди» запросила кагорскую больницу и обнаружила, что я настоящий. Что мать у меня была настоящей. Что брат был настоящий. Вдруг настоящая жизнь стала окружать меня со всех сторон. Пришел конец блефу, конец мистификации. Ни Кено, ни Арагон меня больше не писали. Никто не говорил, как раньше, что я коллективное произведение, но тут-то они снова ошибались. Я – коллективное произведение, и вместе со мной трудилось не одно поколение.

Может, они и думали, что за мной стоит другой Автор, но молчали: бывают читатели верующие, и ни к чему оскорблять их религиозные чувства. Вот Франко взял и почил в бозе, – никто же не считает это богохульством.

Думаю, Пиночет отправится прямо в рай.

Я вышел из последнего ресторана и кинулся к последнему адвокату. Раз уж я вляпался в самую что ни на есть реальность, пойдем до конца. Я предъявил ему собственноручно подписанное свидетельство о том, что я наследственный урод, что подтверждают историки, не отрицают библиотекари и удостоверяют сотрудники гуманитарных музеев, что я потомок известных уродов, в свою очередь порожденных уродским миром, и что я предписываю данному документу обнародовать моего адвоката и покончить наконец с загадкой Ажара. И подпись там стояла такая: Эмиль Ажар, дебил, маньяк, басноплет, рукосуй, фальшивка, врун, шпион, болтун, с тяжелым прошлым. Адвокат посмотрел на меня косо:

- Ажар, вы собственными руками куете себе литературную премию.
- Как это?
- В данный момент вы шьете себе легенду.

Вот сволочь. Я призадумался. И правда: у каждого своя легенда. У Вийона повешенные. У Лорки расстрел. У Мальро войны-революции. У Гельдерлина психушка. У Солженицына ГУЛАГ.

И во всех легендах – смерть. Человечество стояло не просто на легендах – на мифах.

- А может, мне кого-нибудь убить? – спросил я.
- Не надо заходить так далеко, чтобы получить литературную премию.
- Премия тут ни при чем, я отказался. Но возьмем, к примеру, Раскольников. Человек зарубил старушку с чисто литературной целью!
- Старина, Достоевский – гений. У вас же настоящего литературного таланта нет, вы просто рассказываете себя. Выписка из истории болезни.
- Тогда как сделать себе легенду?
- Хватит, Павлович, перепевать легенду о Христе в тысяча девятьсот семьдесят пятом году – всему есть предел. Никто вас распинать не собирается. Вы и в одиночку прекрасно справляетесь с этим делом.

- Это две совершенно разные вещи.
- Так вы решительно отказываетесь от премии?
- Отказываюсь.
- А ведь это большие деньги.
- Мне плевать на устои общества, а также на окружающую среду.

Адвокат смотрел мне прямо с глазу на глаз. В данный момент у меня их два: один, чтобы шуриться, другой, чтобы видеть. Как только зрение ухудшается, у меня сразу пятьдесят пар глаз, и во всех одна обыденность и повседневность, так, что просто ужас.

- Тогда все ясно. Я вас понял.

Ясно? Понял? *Меня?*

– Переигрываете, Павлович. Вы все очень грамотно сделали. На единственном снимке лица нет, одни глаза, – так загадочней. Биографии нет. По слухам, которые вы не опровергли, вы ливанский террорист, в свободное время – подпольный акушер, по совместительству – сутенер, вас разыскивает французская полиция, и вы назначаете встречи в Копенгагене. Все отлично. Таинственность – лучшая легенда для писателя.

Перед отъездом из Парижа я позвонил Тонтон-Макуту. Рассказал ему про интервью в «Пуэн».

- Тебя спрашивали о том, помогал ли я тебе писать?
- Нет, а что?
- Ну как же, ты все-таки мой двоюродный племянник или вроде того.
- Да они знают.

– И не спросили, помогал ли я тебе хоть немножко?

– Нет.

Никогда я не слышал такой выразительной тишины по телефону. А потом он признался – и сделал это так красиво, что стоит записать для потомства как один из его шедевров.

– Поразительно все же, как мало меня ценят во Франции, – сказал он. – Подозревают Кено, Арагона, кого угодно, только не меня, а ведь ты мне так близок.

– Анри Мишо тоже не подозревают, а ведь он мне ближе тебя, да и талантливее всех.

– Согласен, – сказал он весело, – но все же. . .

– Хочешь, позвоню, попрошу добавить тебя к остальным?

– Нет, спасибо. Мне наплевать. Если никто не в состоянии понять, какие сейчас во Франции крупные писатели, тем хуже для Франции. Я это просто так, к слову. . .

Я ликовал. Еще одно немодное слово.

– Да не бери в голову. Ты же выше этого.

– Вот именно. Кстати, ты не забыл оставить за собой права на экранизацию?

– Да, папочка, сделал как ты советовал.

– Я просил тебя не называть меня папочкой. Этот поганый фрейдистский жаргон просто осточертел. . .

– Как-никак я вроде твой духовный сын? Следы влияния. . .

– Пошел ты.

Я был доволен. Я хорошо на него действовал, он молодец прямо по телефону, в нем снова, как раньше, были жизненные силы.

– Одним словом, права остались за мной. Настоящие деньги – это кино.

– Ты зацикливаешься на деньгах.

– Я?

– Ты. Когда мысленно человек все время борется с деньгами, значит, на самом деле он только о них и думает.

– Знаю, знаю, диалектика. Но я не продался.

– Как это?

– Все пойдет на пользу.

– Кому?

– Комитету помощи и поддержки шлюх. Проституток, иначе говоря. Я спрошу у Уллы, нашей общей матери, у Джеки, у Сони, у некоторых других. Я даже решил создать Фонд защиты, поощрения и процветания шлюх Франции, там будут адвокаты и консультанты, и каждому будут платить по десять процентов моего гонорара. Чтоб все было солидно. Наши святые матери и сестры шлюхи – сегодня наименее как бы вроде офальшивленная часть жизни. Шлюха – одна из самых настоящих вещей в мире. Вот почему все фальшивки – против шлюх. Прикройте эту грудь, что видеть мне невмочь. Их преследуют, потому что они говорят правду – чем могут, тем местом, где она скрывается, там, где она еще осталась чистой и незапятнанной. Шлюхи настолько выставляют себя, что даже не имеют права выставляться на выборах. Потому-то их и нет в парламенте, понимаешь?

– Мне казалось, что все, что тебе надо, Алекс, – это чтоб тебя не замечали. . .

Никого не замечают.

– . . . что ты не хотел выглядеть скрытым болтуном и идеалистом, как ты говоришь, ветрогоном. Если ты раздашь свои деньги по шлюхам, все поймут, что ты еще один безнадежный идеалист, ветрогон.

– Кстати, забыл тебе сказать, что в статье в «Пуэн», которая выйдет в этот понедельник, по шлюхам, твое имя добавили к именам Арагона и Кено.

– По чему, по чему?

– По слухам!

Я повесил трубку.

Я все время пытаюсь повеситься, только ничего не выходит.

И я начал все по новой. В Кагоре мужик из «Депеш дю Миди» здорово все сделал. Он обнаружил, что у меня была подлинная семья, но не напечатал об этом в газете. Он даже позвонил в Париж, чтобы не печатали детали о моей подлинности. Из Парижа его спросили:

– Вы что, не заметили, что имеете дело с психопатом?

Словом, легенда крепла, оформлялась. Меня вот-вот должны были оставить в покое из уважения к людям. Я хотел сходить в буфет на почту и поглотить на публике живых крыс, но удав-то был у меня в первой книге, и все скажут, что я повторяюсь.

Мы сели в «фольксваген», который Тонтон-Макут отдал мне за несколько лет до того, я взял с собой свой самый бандитский вид, чтобы внушать уважение на дорогах, и мы с Анни и Нини поехали на природу. Нини меня никогда на самом деле не оставляет, потому что у нее еще есть надежда. Она еще думает, что может вдохновить меня написание ничегошного произведения, потому что самое смешное – это то, что нигилизм питается надеждой. Мы пропутешествовали три дня. Вернулись во вторник, 18 ноября.

Первое, что я услышал по радио, была новость о том, что мне дали Гонкуровскую премию за «Жизнь» и что меня повсюду ищут.

Я совершенно успокоился. Я всегда очень спокоен, когда теряю голову. Потому что именно голова мешает мне быть спокойным.

Я просто позвонил по телефону Тонтон-Макуту. Он, кажется, был в восторге.

– Поздравляю, Алекс. Вся эта таинственность в результате принесла хороший доход. Отличная работа. Твоя мать была бы счастлива.

– Оставь ты, наконец, мою мать в покое. Ты уже на своей Гонкур заработал. . .

– А вот и нет. То было за предыдущую книгу. . .

– Тебе придется кое-что мне объяснить. Я передал тебе письма с официальным отказом, и ты дал слово вручить их жюри накануне голосования. Ты этого не сделал. Ты нарочно оставил их у себя в кармане. Ты это сделал *нарочно*, для того чтобы я получил литературную премию, чтобы наставить меня на путь истинный. . . а истинный – значит, твой. . .

– Какие письма? Что ты несешь? Кончишь ты когда-нибудь себе врать? Или ты вправду свихнулся? *Ты мне никогда не давал никаких писем. Никогда!*

У меня на висках были капли пота, и мурашки бегали по спине. Я посмотрел на Анни, чтобы была хоть какая-то реальность.

– Я давал тебе эти письма, гад ты этакий! Ты нарочно все сделал!

Он внезапно успокоился, как человек, который понял. Он понятливый.

– Алекс, прошу тебя. Ты не давал мне никаких писем. Я уверен, ты говоришь искренне, ты думаешь, что дал их мне, но. . . ты, наверно, это вообразил в Копенгагене, в период твоей. . . дезинтоксикации.

Я молчал. Он держал меня за горло. Я был беззащитен. Неправда, я никогда не принимал героин. Он меня прижал.

Я попытался выbleвать застрывшее у меня в глотке пушечное ядро, но это было выше моих сил.

– Я утверждаю, что ты никогда не давал мне эти письма, Алекс.

Я заорал, и у меня получилось.

– То есть ты утверждаешь, что я общепризнанный и законченный псих, что у меня галлюцинации и я не отличаю свой бред от реальности? Это ты хочешь сказать?

– Может быть, ты дал их кому-нибудь другому. Но не мне. Я бы их не взял. Я думаю, что ты заслужил литературную премию, и я рад, что ты получил Гонкура.

– Ты не передал эти письма жюри, потому что ты хотел меня проучить. Ты хотел доказать мне, что мы с тобой одним дерьмом мазаны.

Он стал орать:

– Запрещаю тебе говорить со мной таким тоном! Надоело мне с тобой нянчиться, слышишь?

– Хочешь сказать, я тебе стоил достаточно много денег и ты пустил меня на Гонкуровскую премию, чтоб сократить расходы?

Он успокоился.

– Поль, ты негодяй.

– Не зови меня Полем, черт побери! Это же правда, не смей к ней прикасаться!

– Ты подонок. Ты никогда не был сумасшедшим. Ты выдумывал, чтобы написать еще одну книгу. Ты всегда все делал как бы вроде, потому что это уловка, чтобы не выполнять никаких обязанностей.

– Да. Копенгаген, больница, все вранье? Ты выкинул деньги на ветер?

– Я хотел, чтоб ты мог спокойно написать свою книгу. Христиансен был не против.

– Христиансен дал мне неопровержимое медицинское заключение!

– Датчане всегда укрывали евреев и помогали им. И вот что я тебе скажу. Я тебе верю. Вероятно, ты убежден, что написал эти письма с отказом от премии и что ты их мне дал. Но поскольку подсознательно ты хотел получить Гонкура, поскольку ты только этого и хотел. . .

Я заорал человеческим голосом. Я повесился, но, как я уже говорил, это тоже фигура речи. Повеситься трудно, к тому же я боюсь смерти.

Я позвонил в издательство и сказал, что отказываюсь от Гонкуровской премии. Издатель потребовал письменного отказа. Прошло еще два дня. Реклама лауреата шла вовсю. Мне позвонил один приятель:

– Здорово придумал, старик, с этим отказом. Отличная реклама. Одна реклама – Гонкур, другая – отказ. Молодец. Ты гений, Алекс.

Я попробовал стать овощем, но я действительно выздоровел. И потом, какая разница. Если Тонтон-Макут прав и у меня в подсознании сидит литературная премия, значит, я уже как раз и превратился в овощ.

Журналисты окружали дом плотным кольцом. Ночью я брал карабин и стрелял не целясь. Но я не способен никого убить, потому что чужой жизни мне не надо.

Признаюсь, что я оклеветал на этих страницах Пиночета, потому что я бы никогда не смог никого пытаться, так почти всегда бывает с мастерами мучить себя.

Я был беззащитен, виден невооруженным взглядом, у меня было сто глаз, и я не мог их закрыть и не видеть себя насквозь. Зажмурю пару глаз, а остальные сорок девять открыты и безжалостно меня видят.

Чем меньше я старался быть, тем больше я был. Чем больше я прятался, тем лучше выходило для рекламы. Все мои тайные уродства становились видны невооруженным взглядом.

То, что врачи называли моими «шизоидными трещинами», закрылось, забилось химическими веществами, но хотя в таком виде они не давали привычной рутине захватить меня, они замыкали меня в самом себе, и бросающееся в глаза уравнение Ажар=Павлович представляло для окружающего мира одну, единую мишень с четко вычерченными кругами, мишень эта то и дело увеличивалась прессой и делалась все более четкой и, как нарочно, уязвимой. Это было удостоверение личности во всем своем безобразии.

Когда «Депеш дю Миди» на первой странице опубликовала мою фамилию, минутой позже я был во всех самолетах, которые вылетали из Каньяк-дю-Косса в Камбоджу, потому что красные кхмеры, которые борются там за право быть никем, рассеяли все население Пномпеня по сельской местности, а потом изменили каждому имя и фамилию, чтобы сделать всех неизвестными и необнаруживаемыми. Я хотел отправиться туда, чтобы меня так же рассеяли по сельской местности и избавили от моего состояния. Неизвестный, сын неизвестного отца, необнаружение гарантировано. Жители Пномпеня, лишённые личности и рассеянные по сельской местности, потеряли свои корни, прошлое, свою жизнь по чести и по совести, там были напрасны поиски сыном преступника отца, это было царство счастливых невозможностей и независимостей от воли. В Камбодже всех Павловичей звали по-другому. Но

лечили меня хорошо. Химия перекрыла все выходы, и все самолеты на Камбоджу вылетали из Каньяк-дю-Косса без меня.

Моя видимость увеличивалась с помощью фотографий с разных документов, и я боялся сесть за руль, потому что я знал, что Судьба в курсе и рискует вмешаться.

К счастью, одна светская дама, для которой я раньше немного халтурил, удостоверяла, что я полное ничтожество, неспособное написать двух строк, и что настоящим моим автором был Тонтон-Макут. Это было очень приятно, как будто, несмотря ни на что, была какая-то иллюзия отцовства, созданная женской интуицией, что-то вроде черновика свидетельства о рождении с целью алкогольной и психиатрической наследственности. Оставался, конечно, диабет, туберкулез и рак, но за всякое признание отцовства надо платить. Слух распространялся вширь, и я снова впадал в несуществование, у меня было все меньше и меньше личности, которую Судьба могла подцепить на свой крючок. Я был всего лишь подставным лицом. Тонтон-Макут выходил из себя, извергал опровержения, возмущался и клялся, что он тут ни при чем. Он прямо из кожи вон лез, как будто ему было стыдно за то, что я писал, за то, чем я был, это было недостойно его, любой вид отцовства он отвергал.

Я принимал тимергил, но, несмотря на все антидепрессанты, я был неспособен устранить себя, в любом случае я был антифашистом и не признавал за собой право на окончательное решение еврейского вопроса. «Нувель Обсерватер» напечатал половину моей фотографии с вопросительным знаком: «Ажар?». Несмотря на сомнение, у меня все-таки было половинчатое существование, как у всех.

И тогда среди ночи, оглушенный антидепрессантами, я сказал сам себе: а что, если избегать себя до карикатуры. Предать себя самосожжению. Паяцствовать до пародийного опьянения, где не остается ни злобы, ни отчаяния, ни тревоги, а только дальний отголосок насмешки над тщетой всех этих чувств.

Я дождался утра и перезвонил Тонтон-Макуту:

– Скажи-ка.

– Да, да, да, что там еще?

– Не волнуйся, папочка.

– Поль, все, что можно, ты уже извлек из этого «папочки». Переходи на что-нибудь новенькое. Обновляй свой талант.

– Звоню тебе, чтобы сказать, что я ошибся. Я не давал тебе никаких писем с отказом от литературной премии. Да и с чего бы. . .

– С самого начала я бьюсь как рыба об лед, пытаюсь тебе это доказать,

– Не с чего мне было это делать, потому что написал мою вторую книгу ты. Не первую, а вторую. Вот почему она лучше раскупалась. Ты собственноручно ее написал.

Вот тут я почувствовал, что я и вправду смог его удивить.

– Да что это за новые бредни? Кстати, ты знаешь, как тебя теперь называют в «Капар Аншене»? Маньяк из Каньяк-дю-Косса.

– Ты автор «Жизни». Так говорят в некоторых газетах, и у меня есть черновик, написанный твоей рукой.

– Поль, ну, в общем, Алекс. . . Я хотел сказать – Эмиль. Хватит. Я тебе не давал никакого черновика, не знаю, о чем ты говоришь.

– В Копенгагене.

– Что в Копенгагене?

– Знак любви.

– Какой знак любви, дерьмо собачье?

Это его любимое выражение: дерьмо собачье – он всегда громоздит одно на другое.

– Ты помнишь, когда у меня был приступ отверженности? Когда я чувствовал себя отвергнутым целым миром, и прежде всего тобой?

– Я не обязан помнить все твои приступы. Я не веду летопись.

– Вспомни, в Копенгагене. Ты согласился переписать начало книги своей рукой. В черную тетрадь. В знак любви, в знак признания меня? Я знал, что ты был на последнем дыхании, опустошен, загнан в угол. . . Поэтому, кстати, ты и ездил к доктору Христиансену. Ты уже не мог писать. Я сделал это за тебя. Достаточно меня мурыжили. Я сделаю заявление и скажу, что автор – ты.

Я даже не оставил ему времени на инфаркт, повесил трубку сразу.

Им еще меня не поймать.

Я принялся разыскивать тетрадь, где были его записи. Я ее не нашел. А ведь где-то она должна была существовать.

И тут я чуть не заработал тот самый инфаркт, который готовил Тонтону. *Это он сам спрятал тетрадку, рукопись!* Он хотел украсть *мою* книгу, *моего* Гонкура! Он подло украл его, как какой-нибудь Шолохов, который выкрал первый том «Тихого Дона» с тела мертвого писателя-белоказака, по мнению Солженицына! У меня свидетель, Солженицын! Он с самого начала все задумал, когда предложил мне переписать своей рукой несколько первых глав! Ведь это он мне предложил, я прекрасно это помню! Дьявольская мысль, типичная выдумка

таитянского колдуна и Тонтон-Макута! Он потребует себе Гонкуровскую премию, почести, бабки... Все бабки!

Ко мне! На помощь! Убивают!

Я прыгнул в поезд и вечером был у него в Париже. Его не было дома. Он прыгнул в поезд и был у меня в Каньяке.

Мы пытались прозвониться друг другу, но у нас все время было занято, каждый из нас пытался дозвониться до другого.

В конце концов дозвонились.

И завопили одновременно одни и те же слова:

– Сволочь!

И еще:

– Это тебе так не пройдет! Я на тебя в суд подам!

И наконец:

– Ты ошельмовать меня хочешь!

И повесили трубки. Я побежал к своему новому адвокату. Я сказал ему, что у меня отец украл рукопись, что он пытался присвоить себе мою книгу, что он распространяет слухи, делая вид, что их опровергает, и нагромождает опровержения и что я хочу подать на него в суд,

Он даже собирался убить меня, чтобы спокойнее было, как он уже убил этого белоказака.

Адвокат сказал, что он отказывается вести мое дело. Он отказывался представлять в суде такого мифомана. По его словам, выходило, что я веду себя некрасиво. И даже подло. Тонтон-Макут не обкрадывал трупы.

Я завопил, что все великие романисты, от первого Толстого до последнего, обкрадывали трупы. Пили кровь и эксплуатировали человеческие страдания.

– Я Эмиль Ажар! – вопил я, стуча себя в грудь. – Единственный, неповторимый! Я творение рук своих и отец своих творений! Я сам себе сын и отец! Я никому ничем не обязан! Я сам себе автор и тем горжусь! Я настоящий! Я не газетная утка! Я не псевдо что-то: я человек, я мучаюсь и пишу, чтоб больше мучиться, чтобы больше дать литературе, миру, человечеству. Когда речь идет о творчестве, чувства, семья не в счет! Важна одна литература!

Меня укололи.

Я позвонил доктору Христиансену. Его не было на месте. Это был заговор.

Я побежал к другому адвокату и рассказал ему, что мой дядя хотел меня убить, чтобы украсть с моего трупа первый том «Тихого Дона».

– Павлович, у вас паранойя!

– Не называйте меня Павловичем, я Эмиль Ажар, единственный настоящий Эмиль Ажар!

Меня укололи.

До доктора Христиансена мне удалось дозвониться на следующее утро. За три дня до этого он погиб, спасая младенца на пожаре, такой он замечательный человек, но тут он был мне нужен.

– Он пытается... .

– Знаю, знаю, он мне звонил.

– А, так он сознался?

– Он сказал мне, что вы помешались и что вам надо срочно в больницу.

– Вот видите, видите! Он посадит меня в больницу и развяжет себе руки! Доктор, в общем, вы же понимаете, что в общем-то для меня эта Гонкуровская премия!

– Я понимаю, для вас она имеет большое значение.

– Признание! Слава! Свобода!

На другом конце провода доктор Христиансен молчал. Он наслаждался.

– Эмиль Ажар, у меня для вас хорошая новость. Вы и раньше были здоровы, но теперь вы выздоровели окончательно. Вы совершенно нормальный человек. У вас нет никаких нарушений личности. Никаких следов чувства вины. Отныне для вас виноват другой. Виноваты другие. Вы ни при чем. Можете быть свободны. Объявляю вас здоровым.

Меня парализовало от ужаса, но мне было плевать, по телефону не видно.

– Доктор, – сказал я с достоинством. – В этой истории я – не главное. Бабки, слава – мне плевать. Я хочу одного: чтобы весь мир прочел мою книгу.

Здорово я это придумал. Главное – не я. А книга. На авторов всем плевать. В счет только то, что автор подарил свое творение миру.

Я чувствовал себя хорошо.

Я чувствовал себя чистеньким.

Я чувствовал себя правильным.

Я отдал себя Франции, человечеству. Человечество дало мне свою боль, а в обмен я дал ему книгу. Мы квиты.

Блин, литература важнее нас всех.

Никогда еще я так хорошо себя не чувствовал. Мне было так хорошо, что даже немного страшно: никто меня не преследовал, даже при Понтии Пилате. Неужели я выдохся? Исчерпался, подумал я. Снова придется читать газеты. Может, найду какой-нибудь вдохновляющий источник страха.

– Вы в прекрасной форме, Ажар. Отлично! Продолжайте в том же духе. Подарите нам что-нибудь еще.

– А что делать с подлецом Тонтоном?

– Поверьте, он никогда и ничего не переписывал. Взгляните на него. Вы созданы друг для друга.

– Да что вы такое говорите? Нет, вы понимаете, что вы говорите?

– Вы созданы, чтобы жить в мире.

И он повесил трубку первым.

Тонтон-Макут выбил дверь и вошел в мою хибару в пять часов утра, в глазах у него сверкали ножи.

– Верни мне рукопись.

– У меня ее нет.

– Верни рукопись, или я тебя убью.

– Тон, и так уже авторов нет.

– Я тебя уничтожу.

– Чтоб легче было выдавать себя за автора.

– Я дал опровержение.

– Перестарался.

– Верни мне рукопись, Людовик.

Людовик. Очень мило с его стороны. Он пытался свернуть на мировую. Он выглядел настолько плохо, что казался человеком без возраста. Это началось не сейчас. Наверно, во времена первых авторов.

– Послушай, Валентин. Я командор Почетного Легиона. Я не ворую рукописи с трупов. . .

А значит, он тоже об этом подумывал.

– Я не выдаю себя за автора чужих книг. У меня за плечами свои книги, и я ими горжусь. Признание. Полное признание. Этот мародер гордился своей работой.

– Когда ты выдашь нам римейк «Герники»?

Тот еще сюжетец.

– Мне нужна рукопись, Валентин.

Я тоже попытался говорить с ним поласковой:

– У меня нет рукописи, Анатолий, клянусь всеми святыми. . .

Этого мне, между нами, авторами, говорить не стоило.

– Ну, в общем, поверь мне. Может, мне померещилось, Фернан.

– Хватит, Моисей. Когда я в Копенгагене пытался отучить себя от литературы, мне назначили курс лечебного сна и курс дезинтоксикации, ведь я пишу уже сорок лет. Я перестал быть собой. Мне давали замещающий наркотик, чтобы не было слишком резкого перехода и ломки. Моим наркотиком была литература, она отравила мне всю жизнь, поэтому внезапно окунуться в реальность было слишком опасно.

– Повседневная жизнь, – пробормотал я и покрылся холодным потом.

– Да. Христиансен давал мне замещающий наркотик, постепенно снижая дозы. Хропромат. Я был совершенно оглушен. Я совершенно не помню тот жест любви, о котором ты говоришь, но ничего невероятного в нем нет. У меня отняли наркотик, – может быть, я и вправду тайком от Христиансена принял что попало, какую-нибудь дрянь, и в состоянии ломки переписал твой текст. . . Не помню.

– Ты переписал его в черную тетрадку. Своей рукой.

– Верни мне тетрадь. Я ее уничтожу.

– У меня ее нет. Была бы – поверь мне, я бы давно ее сам уничтожил, Я выздоровел, Тонтон. Я сам себя написал и этим горжусь. У меня тетради нет.

– Да у кого же она тогда?

Мы посмотрели друг другу в глаза и завопили в один голос:

– Нет! Нет! Не может быть!

На следующий день с утра мы вместе сели в самолет. Доктор Христиансен очень любезно принял нас:

– Ну как, родственники?

Мы молчали. Потом Тонтон, более гуманный, чем я, сказал:

– Сколько?

Добрый доктор улыбнулся в свою добрую великанскую бороду. Я говорю «великанскую бороду», потому что этого выражения еще никто не использовал. Это оригинально. Доктор молчал.

Я робко заметил:

– Дания – самая честная и самая мужественная страна в мире. Единственная страна, достойная слова «цивилизация». Я люблю Данию, Я напишу много хорошего о Дании в своей следующей книге.

– Чихала на это Дания, – убежденно сказал доктор Христиансен.

Тонтон попытался играть на чувствах:

– Знаете, он же отказался от премии. Книга будет хуже продаваться. И потом, второй раз такого коммерческого успеха не будет. К тому же налоги и. . .

– И права на экранизацию, – сказал доктор Христиансен.

Я завопил:

– А порнографии и проституции в Дании, может, совсем нет?

Казалось, он обрадовался еще больше.

– У нас проституция и порнография доходят только до задницы. А до головы – почти никогда.

– Так сколько? – спросил Тонтон-Макут.

– У нас есть фонд поддержки шлюх, – сказал доктор Христиансен. – Мне кажется, небольшой взнос был бы очень кстати.

– Я уже обязался сделать взнос в пользу аналогичного фонда в Париже.

– Прекрасно, но не вижу, что вам мешает помочь датским шлюхам тоже, – сказал добрый доктор.

Тонтон взял свою чековую книжку:

– Много дать не могу, из-за контроля за валютными операциями.

– Переведите через Бэнк оф Нью-Йорк. В любом случае счет должны провести через ООН.

Тонтон-Макут сделал как ему сказали.

– Я тебе верну, – сказал я.

Он посмотрел на меня исподлобья:

– Пиши расписку.

Я написал. Царило взаимное доверие.

– А теперь вернемся к той самой рукописи, – сказал доктор Христиансен.

Он достал из ящика черную тетрадь и раскрыл ее. Тонтон побледнел от радости.

– Не мой почерк. Верните чек.

– Конечно, не ваш почерк, – сказал добрый датчанин, – я переписал всю рукопись своей рукой. В конце концов, настоящий автор Эмиля Ажара – я. Если бы не моя работа психиатра... А?

– Неужели вы собираетесь присвоить мою книгу? – завопил я.

– Вряд ли, – сказал он. – Но гарантировать не могу. И вот почему, Ваше величество... .

– Не называйте меня Ваше величество. Меня зовут Эмиль Ажар, и я этим горжусь.

– Прекрасно, прекрасно, – сказал доктор Христиансен. – Вы почти совсем избавились от страха, Ажар. Только без него вы не напишете ни строчки. У вас есть котенок Пиночет, но все, что можно, вы уже из него выжали. Вы спокойны, уверены в себе – как человек, не знающий страха. Вы рискуете утратить потребность творить. Но если рукопись останется у меня, если над вашей головой будет висеть эта угроза, это письменное доказательство того, что настоящий автор «Всей жизни впереди» – всемирно известный психиатр, доктор Христиансен, – вы все время будете испытывать некоторый страх, Эмильчик, и, может быть, еще что-нибудь напишете... .

Я заплакал.

– Я оплакиваю не себя, доктор, а Данию. Подло вы со мной поступаете. Психиатры должны излечивать страх, а не поощрять его.

– И в этом мое отличие от остальных психиатров, – сказал доктор Христиансен. – Без страха не было бы творчества. И я скажу больше – не было бы человека. Невозможно было бы раскрыть преступление.

– По мне, так лучше не тревожиться и не быть автором, – сказал я.

– Увы, я социалист, – сказал доктор Христиансен. – Я хочу, чтобы человеческое сообщество обогащалось новыми произведениями. А что касается лично вас... . Не то чтобы мне на вас наплевать, но хочется, чтобы вы были творческой личностью. Социализм призван беспокоить, будить и оплодотворять осознанием действительности, а осознание – всегда отвратительный ужас, и ему-то человеческое общество обязано своими самыми прекрасными творениями... . Страх, Эмильчик, – это творчество, прогресс и изобилие.

Он встал и пожал руку Тонтон-Макуту, глядя ему прямо в три пары глаз.

– Если когда-нибудь захотите вернуть свою рукопись, маэстро... .

– А что, есть еще одна рукопись? – спросил Тонтон-Макут так тревожно, что в воздухе прямо-таки запахло творческой атмосферой.

– Я пытаюсь помочь вам, маэстро. Что бы про вас ни говорили, а нервы у вас не стальные. Но вы слишком их контролируете, вот и не хватает горячего. Спускайте на тормозах. Исповедь в трех тетрадках, которую вы здесь собственноручно написали, в которой вы наконец говорите о себе все, которая лежит у меня в сейфе»,

– Котенок! – завопил Тонтон-Макут и, как настоящий сумасшедший, кинулся на сейф в углу кабинета и застучал по нему кулаками.

– Сдох котенок! – сказал доктор Христиансен, безжалостно глядя ему в глаза.

– Это не я, это все он, – завопил Тонтон-Макут и, не заботясь о манерах, показал на меня пальцем.

– Врешь, это Пиночет! – заорал я. – Мне нужна была передышка, пока я не найду кого-нибудь другого.

– Теперь моя очередь, – сказал добрый датский док и, как и положено догам, немедленно покрылся черными и белыми пятнами. С тех самых пор и уже три года он – мой самый преданный друг в Каньяке.

Вернувшись в Гранд, я поднялся к себе в номер и попросил соединить себя с Богом, потому что это был превосходный отель со всеми удобствами.

– Это вы или не вы? Мне необходимо это знать.

– Отстаньте вы, Павлович, с вашими поисками Отца. Этот сюжет вы уже отработали. На меня уже пять тысяч лет наезжают, и никто еще не сумел на этом построить такую цивилизацию, которая была бы достойна исходного материала.

– Это вы или не вы?

– Конечно я. Я переспал со своей матерью, и единственной целью всего этого инцеста, кровосмешения, извращения, безумства было искусство. Греческая трагедия, что, не стоила усилий? Неужели не ясно, что сотворение мира – художественный акт? Без ужасов, без невероятного разнообразия и богатства страданий, без смерти и, следовательно, без постоянного обновления сюжетов не стало бы литературы, не стало бы источников вдохновения – и где бы были мы все? Сотворение мира было предпринято единственно с художественной целью. Это успех, о котором свидетельствует невероятное размножение шедевров.

Ну прямо точь-в-точь Тонтон-Макут.

– А все остальное?

– Единственно значимая вещь, Павлович, – шедевры. Я до сих пор с огромным удовлетворением перечитываю Данте, Шекспира, Толстого, Достоевского.

– А меня вы читали?

– Конечно. Стараюсь быть в курсе новинок. Я создал все это, потому что ужасно люблю литературу, музыку, живопись. Если бы не они, я бы устроил мир по-другому. И не мучайтесь вы, не заглядывайте в будущее. У меня все под контролем. Будут еще прекрасные песни. У вас способности, Ажар, но вы слишком заиклены на себе. Больше думайте о страданиях других: тут еще можно найти прекрасные книги. Нехорошо, что люди страдают зазря, мальчик мой. Счастливы зрелые колосья и сжатые хлеба. Дистанцируйтесь от себя, довольствуйтесь чужими страданиями: эпопея, Павлович, нужна эпопея. «Я» – штука интимная, ограниченная, исчерпывается слишком быстро, а человечество – кладезь сюжетов, настоящая золотая жила для писателя. Оглянитесь вокруг: еще несколько таких Чили, несколько должным образом прочувствованных ГУЛАГов, побоищ, кампаний преследования, и вы станете большим писателем, Ажар, – и, значит, люди погибли не зря.

– Я поеду жить в Китай.

– Да, в литературе у них сейчас затишье.

Он немного говорил по-английски, У датчан ужасно выразительные лица. Он налил мне заказанный виски, оставил бутылку, я подписал чек, и он ушел.

Я хотел позвонить в бюро обслуживания и точно узнать, вправду ли это был ОН, но потом плюнул: все время попадаю на кого-то другого.

Я почти закончил. Датчанин бегаёт от дерева к дереву и лает, потому что наверху белка. Господи, Господи, вокруг ни слова правды, кроме слова «Бог», которое ведь тоже – часть словарного запаса. Не ломай голову, Ажар, алфавит сам охраняет все ходы и выходы, он сам отличный сторож и часовой. Конечно, есть музыка, но и она на обслуге: помогает строить и жить. Есть детский смех, но он своим неведением просто разрывает сердце. Повсюду знаки, и они не обманывают, потому что все так и есть.

Бессмертные всадники галопом скачут по небесам, но они всего лишь облака, мифа нет. Под ногами потрескивают осколки религий, упавшие со старого орешника, который даже не знает, что дает одни пустые скорлупки. А он все растит их, потому что создан для и с этой целью. Умышленно и наказуемо. Дым над крышами, как дань священному огню, чтобы он грел. Птицы, пчелы и цветы для усыпления бдительности. На горизонте ни кошки, потому что разум снял все вопросы. Четко прочерчены новые дороги, чтобы идти все дальше в никуда. Катаклизмы сдерживаются, чтобы продлить удовольствие.

Принять себя, насколько хватает глаз. Принять себя вплоть до исчезновения всякой видимости мира, любого чужого страдания. Или уж принять себя до самосожжения – и освободить палату в психиатрической лечебнице.

– Поль, у тебя снова глаза поехали!

– Ничего страшного, милая, это просто самосожжение. Не знаю, был ли я побежден, или все это от трусости, подчинения, смирения, «выздоровления», словом, – но я готов принять себя как карикатуру и чтобы стать наконец себе подобным, стать себе братом. набросок в ожидании резинки и совсем другого автора. Мы сможем, выражаясь вульгарно, любить друг друга, и никто не удивится этому избытку плоских чувств: любовь у карикатур еще допустима, ведь им разрешено преувеличивать.

Она ласково, без литературного стыда погладила меня по волосам:

– Правда. Мы даже сможем жить счастливо, потому что карикатуры нереальны.

– И сможем говорить о народном органе, не боясь обвинений в литературной посредственности, ведь карикатурам все прощается,

– И солнце наконец сможет светить, не заботясь об оригинальности. . .

Я быстро пошарил в карманах. Я чуть было не забыл по привычке, однако в карманах проклеивалась огромная надежда. Я вырезал ее накануне утром, 24 января 1976 года, – отмечаю здесь этот исторический день, в который, может быть, начнется какое-то зарождение понимания, – из американской газеты, которую читаю, потому что это все-таки иностранный язык. Надежда была на первой странице.

– Послушай, Анни. И если ты думаешь, что я не выздоровел или что у меня новый приступ, читай сама: «До сегодняшнего дня ученые думали, что знают, почему солнце светит. Но недавние открытия заставили все пересмотреть. Причина явления остается неизвестной, но, по докладам английских и советских ученых, СОЛНЦЕ БЬЕТСЯ И ТРЕПЕЩЕТ, КАК ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ. . . »

Она посмотрела на меня тревожно, и я знал: она подумала, что у меня новый приступ. Но она не осмелилась ничего сказать, чтобы не ранить надежду, потому что слова стреляют без жалости, когда видят свою любимую дичь.

Доктор Христиансен явился мне в последний раз, когда на кагорском вокзале я готовился сесть в поезд на Париж. Скорый поезд уже стоял у перрона, и тут я увидел, как он выходит ко мне из датского тумана, и если он был не так отчетлив, как всегда, то это потому, что ускорение сердечного ритма в минуты внезапной паники всегда немного туманит зрение – даже у тех, кто симулирует с максимальной степенью убедительности, чтобы не попасться еще раз. Я посторонился, пропуская отряд СС, но, видимо, просто по старой памяти. Я понимал, что мой инквизитор получил у карательных органов новые инструкции и пришел убедиться, что меня снова можно пускать в обращение, как фальшивую монету, как видимость человека, как бы вроде нечто, безопасное для себя и для других, ведь ему лучше всех известно, что их так называемое у психиатров выздоровление на самом деле только тщательное, послушное и показное сокрытие симптомов. Без видимых причин, потому что поезд еще не тронулся и, следовательно, не мог никого раздавить, в его грозной неподвижности встала вся тревожная неизбежность Анны Карениной, готовой кинуться под колеса, но, возможно, это была лишь литературная реминисценция. Христиансен, которого я решил дерзко называть так, без слова «доктор», потому что доктор мне больше не нужен, встал передо мной в той нарочно приятной и спокойной позе, которая должна успокаивать. Он схватил меня за горло. Однако дьявольского в нем не было ничего, он улыбался, держа руки в карманах серого пальто с вельветовым воротником, у него была русая борода, которая никому ничего плохого не сделала, очки без оправы и глаза с чуть припухшими веками, он был немного похож на Вольтера и немного на Верлена, но я знал, что он до отказа набит литературными аллюзиями и впервые с момента нашего знакомства скрывал под каракулевой шапкой тот факт, что был лысым.

Я пошел ему навстречу с протянутой рукой, для придания его внезапному появлению на кагорском вокзале более естественного вида.

– Я принес вам поразительную новость, писатель Ажар, – заявил он мне. – Пиночет вот-вот будет отправлен в отставку, а Плюща уже освободили. Вы победили, писатель Ажар. Плющ прибыл в Париж, его встречали цветами и математиками. Bravo.

– Не знал, что у меня такие длинные руки, – сказал я скромно – так полагалось.

– Вы победили, воитель Ажар, и можете гордиться делом своих рук.

– Тем более что книга еще не опубликована, – сказал я, чувствуя подвох.

– Пиночет узнал ее содержание через свою тайную полицию и запаниковал. Он хочет бежать. А КГБ, оно повсюду, и, узнав, что ваша мощная книга должна вот-вот выйти, и не сумев подчинить вас себе, несмотря на курс химической обработки, который они вам проделали в Копенгагене, они спешно освободили Плюща. . . триумфатор Ажар!

– Сею при любом ветре, – сказал я иронически, потому что ирония остается хорошей гарантией умственного здоровья.

Из-за доктора Христиансена показался раввин Шмулевич с белыми глазами. Его не было, и то, что я его не видел, окончательно доказывало, что все симптомы у меня исчезли.

– Сколько я вам должен, доктор? – спросил я, потому что ему полагались авторские права.

– Не обороняйтесь, верующий Ажар. Доказательство налицо: Плющ на свободе, Пиночет едва держится, в Аргентине перестали убивать, в Ливане – братская дружба, ваша книга смогла облегчить огромное человеческое горе. Давайте пишите, вас ждут миллионы угнетенных. Спасите их, освободите, сделайте из них еще порцию литературы, лауреат Ажар. Мало вылечиться самому, надо вылечить все человечество. . . Пишите!

– Это будет означать, что у меня прослеживаются тенденции к мессианству, реформаторству и шизоидности, доктор. Ничего не поделаешь.

Мой исследователь с уважением посмотрел на меня: он знал, что я твердо намерен захватить поезд 8.45, – другого не было, а этот ждал на вокзале, потому что Христос запаздывал

и надо научиться ждать.

Но гениальный искатель все же сделал еще одну попытку, ведь он знал все уловки и понимал, что большинство так называемых нормальных людей на самом деле – просто хорошие симулянты.

– Bravo, Ажар, человек с обнаженной совестью! Вы доказали всемогущество нашего народного органа. Он сдвигает горы, распахивает тюрьмы, исполняет желания, осушает слезы, бинтует раны, исцеляет прокаженных, жрет дерьмо, лижет задницы, целует сапоги, командует «пли!», стреляет не целясь, взрывает города, благословляет толпы, насилует вдов, убивает сирот, плодит ужасы, гладит собак, восстанавливает руины, спасает мир, льет кровь, превращает пустыни в сады, просвещает мир, снимает Иисуса с креста, спускает Жанну с костра, скрипит зубами, рвет на себе волосы, делает харакири, убивает невинных, расстреливает заложников, режет свои жертвы, добывает раненых, – даст кто-нибудь, наконец, ему воды, – говорит мой отец! Полный вперед, писателишка Ажар! Пишите себе помаленьку! Думайте о миллионах страждущих, прикиньте тиражи! Хватайте свою святую авторучку, спасайте, освобождайте, кормите, разгнетайте, пишите! Еще немного литературы! И еще! И еще! И еще! Да здоровствует еще, да здоровствуют чернила! Давайте! Летите! Да здоровствует музочка! Не делайте вид, что отрицаете великую литературу – счастье, справедливость и спасение, созданную Толстым и всеми прочими спасателями рода человеческого, спасатель Ажар! Самурай Ажар! Байярд Ажар! Дерьмоносец Ажар! Не думайте, что вы мелковаты, – нет понятия малых величин, когда речь идет о человеческом величии. . . исполн Ажар!

– Моя жопа не царь Навоходоносор, – ответил я ему спокойно, чтобы видно было, что я не попался, что у меня есть чувство пропорции, и вообще, что у меня прочная основа, а также внести нотку надежды.

– Не прячьтесь за маской цинизма, идеалист Ажар. . .

Но великий инквизитор начинал расплываться, потому что понимал: я для него стал недосягаем.

– Я думаю, друг мой, что у вас больше никогда не будет меня, – сказал доктор Христиансен уже далеким голосом, и мне взгрустнулось, потому что мне он, пожалуй, нравился и я был ему здорово обязан.

– Прощайте, выздоровевший Ажар. Хорошей вам симуляции. Таков уж закон жанра.

– Прощайте, друг Христиансен. Но я все-таки рискну и укажу вам границы моего выздоровления. «Здесь» будет для меня всегда уродливой карикатурой того, что «там». Из-за вашего отличного и такого убедительного лечения, а также из-за женщины, которую я люблю больше всего на свете, я принимаю ваши условия и нашу жизнь. Да, я, нижеподписавшийся Павлович, выражаю настоящим документом согласие быть карикатурой Эмиля Ажара, карикатурой человека в карикатурной жизни в карикатурном мире: я – за братство, пусть даже такой ценой. Да, я знаю, знаю, – кому вы это говорите, – меня обвинят в трусости, в капитуляции те, кто борется за то, чтобы вырваться из фальшивки и из карикатуры, но я ничего не могу поделать, я вам уже объяснял, я не способен на выбор жертв. Поэтому я соглашаюсь на самоокарикурирование и самосожжение и больше не пойду в музеи сжигать шедевры во имя жизни, для того, чтобы воплотилась она. . .

На следующее утро, когда я обрывал телефон, пытаюсь узнать, как продаются права на экранизацию, Тонтон взлетел на седьмой этаж без лифта и забарабанил в дверь.

– Не понимаю, – сказал он. – Это опять твоих рук дело?

Он протянул мне карточку с выгравированными буквами. Кики и ее сестры приглашали нас в президиум Международного форума проституции, открывающийся в Париже вечером

того же дня.

Я тоже получил приглашение, но мне пришлось для этого здорово поработать и, чтобы получить эту карточку, в качестве козыря выставить свой отказ от Гонкура.

– Что это означает?

– Ну, Тонтон, ты же официальный памятник, награды, почет, – шлюхам нужна твоя моральная поддержка. Пойдем?

– Ни за что. Дьявол, я отказался вступить даже во Французскую академию. Хватит мне почестей.

– Ну давай, старик. Пойдем туда вместе, помиримся. – И добавил, как будто просто так: – Хорошая реклама.

Он подозрительно посмотрел на меня:

– Для кого?

– Для шлюх, естественно.

– Не пойду.

– Скажут, что ты зажрался и обуржуазился.

– Иду, – сказал он тут же.

И мы пошли. Нас не хотели пускать. При входе был кордон из настоящих шлюх.

– Тут у нас шлюхи на передок, – сказали они нам. – А шлюхи на голову теперь повсюду, только не здесь,

Я знал, что так будет. Я им сказал, что я тот самый, который отказался от Гонкуровской премии. Когда они поняли, что я не вру, они нас впустили.

С трудом удалось нам добраться до трибуны: тут были представлены все объединенные нации, так что был народ. Уллы не было. Председательствовала Кики. Мы подошли к ней поближе. Пожали руку, и она без ложной скромности ответила тем же. Я попросил разрешения помыть ей ноги, но она сказала, что я себя не за того принял и что я не Папа Римский.

Давно я не видел Тонтон таким счастливым. Как будто он наконец выломался из своей ледяной статуи, как те, у Бэкона, разинувшие глотки в безмолвном крике.

Потом мы позировали перед фотоаппаратами. Перед уходом я попросил одну шлюху проводить нас до двери:

– Что мы можем сделать для вас?

– Продолжайте писать, – ответила она.

Эта книга – моя последняя.

1976